

22.253к 7

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ



11
5-6

ОГИЗ

ИВГИЗ

1945

ИЗ БИБЛИОТЕКИ

поэта

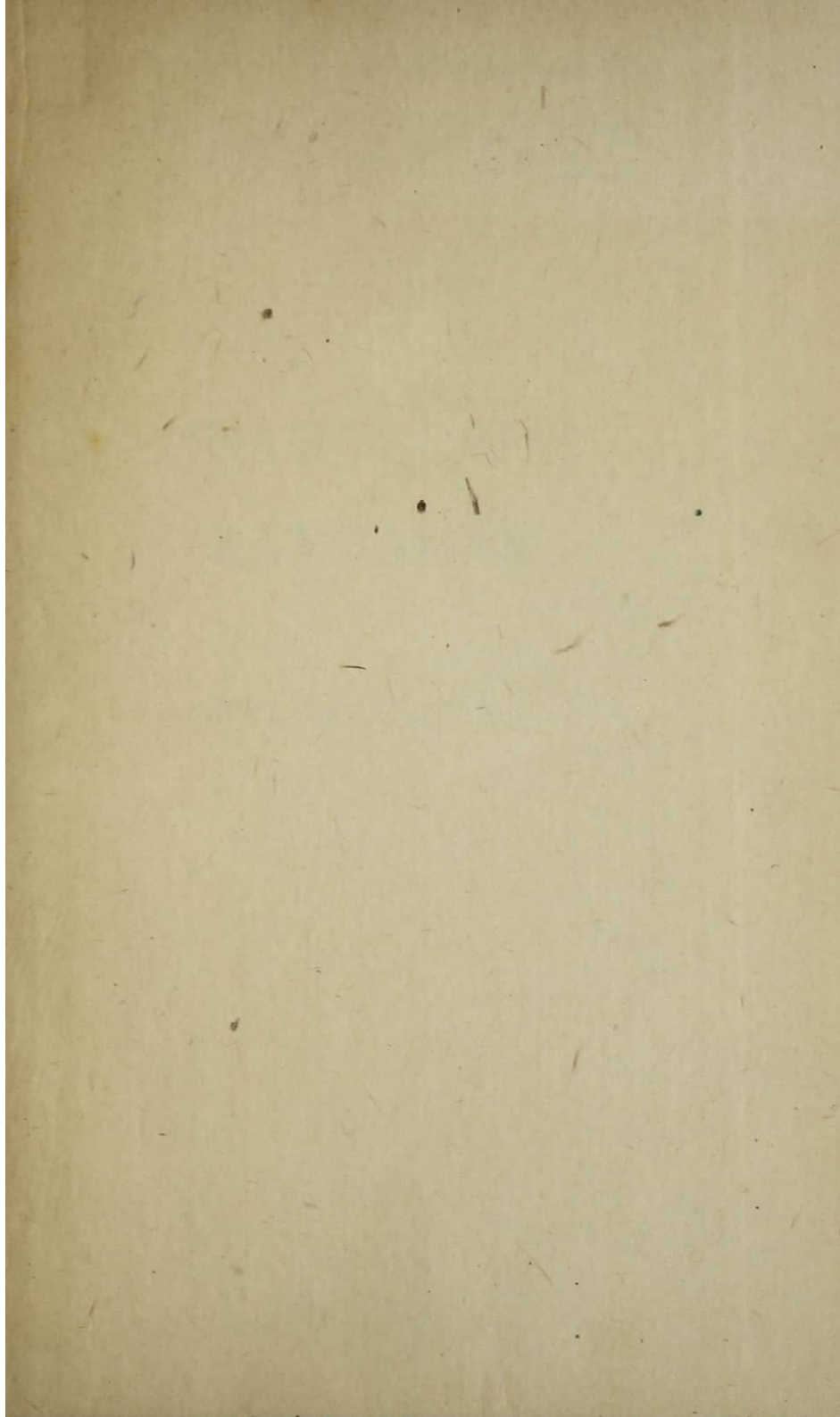
*Дмитрия Николаевича
Семеновского*

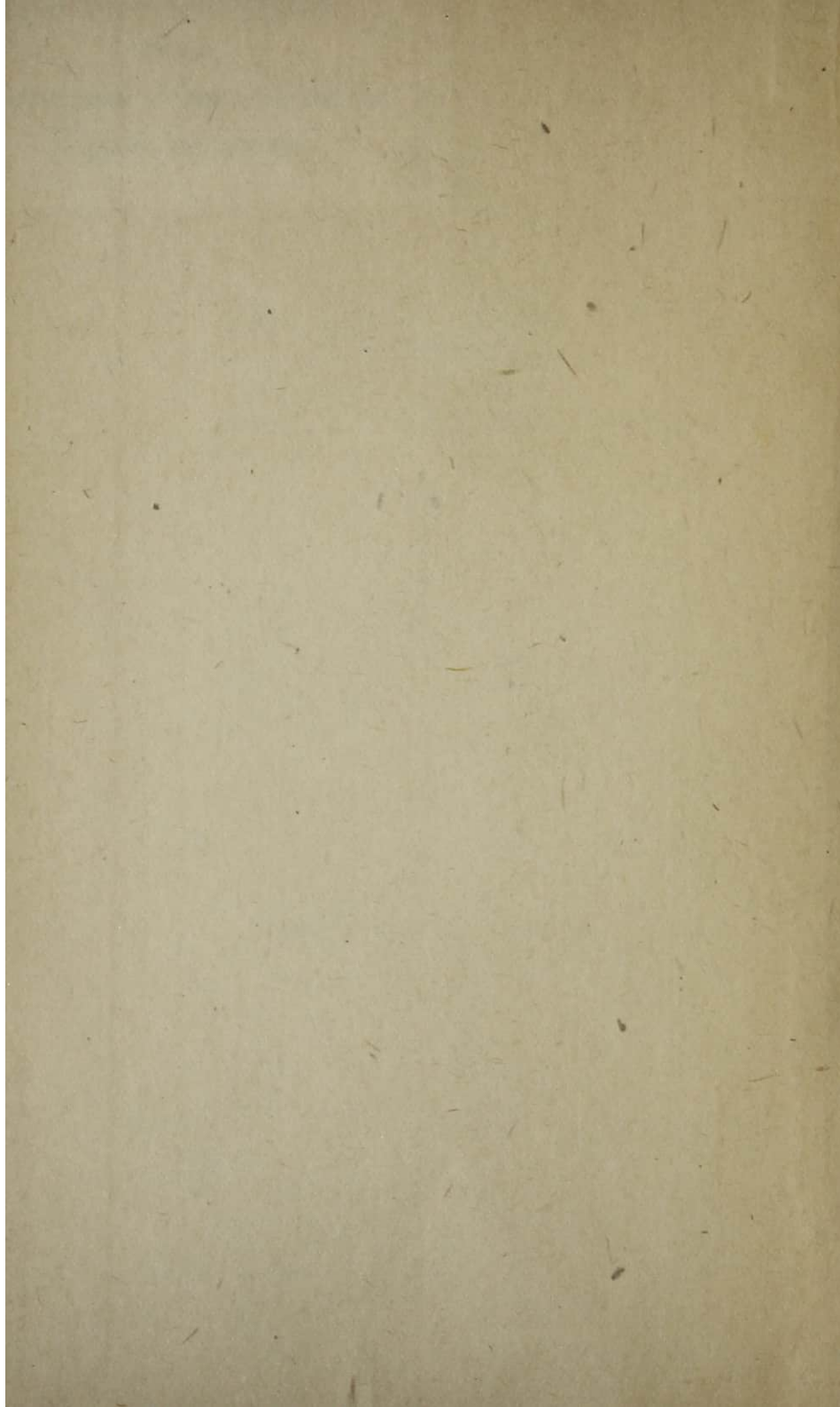
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРСКА

Колич. пред. выдач _____

З ТМО Г. 3.600.000 З. 1653—91





Д. Семеновский

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ИВАНОВСКИЙ
АЛЬМАНАХ

КНИГА ПЯТАЯ-ШЕСТАЯ

О Г И З
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1945

КР 22.253



— Редактор издательства
М. Х. Кочнев.

Подписано к печати 27/XI-1944 г.
КЕ-17283. Т. раж 50⁰⁰ экз. Печ.
л. 14 1/2. Уч.-изд. л. 14. В печ. л.
8810 т.п. зн.

Цена 8 руб. 70 коп.
В переплете 9 руб. 50 коп.

Типография издательства Ива-
новского обласвета депут тов
трудящихся, г. Иваново, Типо-
графская, 4. Заказ № 1024.

-- 2010

Л. ГАЛИЧ

БУДУЩЕЕ

(Повесть)

I

Ровным, широким потоком лился привычный гул тысячи станков. Соколова не замечала шума. Так люди, живущие у берега горной, бурливой реки, не замечают оглушительного рева воды.

Давно прошло то время, когда Анне Петровне приходилось обдумывать каждое движение, когда смена початка, ликвидация обрыва требовали пристального внимания, когда станок казался сложным, непонятым, почти таинственным, когда из-за каждой пустяковой неполадки приходилось бегать к поммастеру. Теперь чаще случалось, что к ней самой приходили неопытные ткачихи за советом, да и новый молодой, недавно выпущенный из ФЗУ, поммастер внимательно прислушивался к словам старой мастерицы, ведь каждая шестеренка, каждый болтик в ее гнезде были ей знакомы. Все повадки, все капризы станков она знала, как мать знает причуды своего малыша.

Хорошо налаженная работа текла как бы сама собой, не занимая мысли. Стоило Соколовой принять смену, остаться одной у своего гнезда, как душа ее неизменно погружалась в прошлое.

Тревоги и радости далеких лет были так живучи, что и сейчас сердце Соколовой стучало учащенно, словно не в воспоминаниях, а в действительности жила она той жизнью..

— ...Мам, я кататься пошел, — небрежно, на бегу бросил Сережка.

— Не смей бегать со двора!

Но сын был уже далеко.

К ужину мальчишка не вернулся. Ненасытный, постоянно голодный чертенок забыл о еде!

До сих пор свежо чувство страха и тревоги, с которым Анна Петровна в одном платье, с непокрытой головой убежала тогда во двор. Кажется, и сейчас в жарком влажном цеху ощущает она, как порывистый, колючий ветер прощальной мартовской метели облепляет голую шею хлопьями мокрого снега, треплет волосы, закрывает глаза густыми прядями...

Надсадно и долго, до хрипоты и кашля она выкрикивала: — Сережа-а-а-а, Сережа-а-а-а!

Никто не отзывался.

Тогда она торопливо забежала домой, не стряхивая снега с волос, набросила на них старинную цветастую шаль, на ходу застегнула пуговицы потертого плюшевого пальто.

За полчаса она обегала всех соседей. Будила товарищей Сережки, спрашивала... Никто ничего не знал.

Анна Петровна бросилась в больницу.

Двухэтажное, запущенное снегом здание неясно темнело за высокой чугунной решеткой, слабо светились широкие, подернутые морозом окна. Соколова стучалась сначала робко и осторожно, потом от страха и отчаяния все громче и чаще. Ворчливый старческий голос долго допрашивал через крепкую, высокую дверь: кто? зачем?

Время было неверное, все чего-то боялись, никто толком не знал, что происходит. Доходили слухи, что в Питере свергли царя, да многие считали, что так, болтовня...

В больнице Соколовой сказали, что там нет никакого мальчишки, одетого в старое, с короткими рукавами пальто, облезлую заячью ушанку и заплатанные зеленые варежки.

Куда идти? К кому обратиться?

Анна Петровна мимо громадных темных и немых корпусов фабрики побежала к озеру. Ровное и пустое, как заснеженное поле, оно смутно белело в темноте. Лед был повсюду толстый и прочный, только под самой отделочной фабрикой, где с турбин спускали горячую воду, чернели широкие полынья.

Стуча зубами, стояла Соколова у самой кромки льда.

— Не уберегла... Мать пречистая, что же делать? Сергей-то Сергеич с ума сойдет. Господи, да что же это?!

Страх за Сережку становился нестерпимым, когда она вспоминала прощальные слова мужа:

— Озорника моего береги. Больше жизни. Слышишь?

И вот не уберегла... А вдруг?.. Может быть, пока она тут стоит и смотрит на черную воду, Сережка вернулся?

Спотыкаясь и скользя, она бросилась домой.

Ни одной подробности той далекой тревожной ночи не

забыла Анна Петровна. До сих пор живо волнует чувство страха и надежды, с которым она отворила скрипучую дверь.

В темной кухне и низкой большой комнате, слабо освещенной мигающим голубым огоньком лампадки, было тихо. Только на большой, неуклюжей деревянной кровати, среди груды пестрых ситцевых подушек, укрытая до носа ватным одеялом, шитым из искусно подобранных пестрых лоскутков, мерно посапывала маленькая Нюрка.

Анна Петровна, как была, в шубе, с головой, плотно укутанной шалью, в полном оцепенении, опустилась на табурет. Несколько минут она бездумно прислушивалась к тонкому завыванию ветра в трубе, потом вскочила, сбросила шаль и заметалась из комнаты в кухню, из кухни в комнату.

Где искать? К кому обратиться? Хорошо еще на фабрику завтра не надо идти, пряжи нет, можно побегать...

И сейчас, через двадцать шесть лет после той ночи, слышит Анна Петровна не грохот станков, а тихие, тоскливые звуки...

Громко скрипели половицы: тонко и отрывисто на кухне, протяжно и заунывно в комнате. Днем их скрипа никто не замечал, а теперь в мрачной, настороженной тишине этот скрип больно хватал за сердце. В темные стекла вдруг начинал стегать частый сухой снег, стучали, качаясь, лохматые черные ветки ели, за обоями в щелях бревенчатой стены шуршали тараканы, настойчиво и смело грызла сухое дерево мышь, звонко тикали ходики, в трубе завывало глухо и упорно.

С малых лет боялась Анна Петровна тихих, шепчущих звуков одиночества. Пустота и неблагополучие чудились ей в них. Росла она в шумной многодетной семье, с шестнадцати лет привыкала к людной фабрике, замуж вышла — сразу пошли дети... Никогда не жила одна...

Чтобы спрятаться от мучительных тоскливых ночных звуков, Соколова с размаху кинулась грудью на просторную перину, возле спящей Нюрки, зарылась головой в подушки. Мягкое тепло и знакомый кисловатый запах постели на миг успокоили ее, заставили забыться. Потянуло к отдыху, ко сну...

Утром, когда Анна Петровна кормила Нюрку пшенной кашей, пригоревшей и щедро политой слезами, раздался громкий стук в наружную дверь.

Анна Петровна охнула и выронила блюдце. Желтая каша медленно потекла по разноцветному лоскутному одеялу. Пе-

репутанная Нюрка заревела, но мать только отмахнулась. Словно ветром вынесло ее на кухню.

За дверью стояла целая толпа: встревоженные соседки, дрожащие от любопытства и страха ребятишки — товарищи Сережки и трое чужих. Стоящий впереди высокий сивобородый старик держал на руках завернутое в одеяло маленькое неподвижное тело.

Еле держась на ослабевших ногах, не смея спросить ни о чем, впустила Анна Петровна всю толпу на кухню.

— Ну, куда его класть? — спросил сивобородый и, не дожидаясь ответа, подошел к кровати, положил в ноги свою ношу и раскрыл одеяло. И сразу обомлевшая Анна Петровна увидела распухшую, всю в кровоподтеках рожицу Сережки с широко открытыми злыми, бесстрашными глазами.

— Живой! — дурным голосом вскрикнула мать и кинулась к сыну.

— Известно живой! А то какой же? Такого, брат, скоро не уморишь! Чертенюк! В его из пушек можно стрелять и то ему ничего не сделается, — сказал сивобородый дед ворчливо, но не мог скрыть своего восхищения. — Ведь не пикнул, пока ему фершал руки-ноги вправлял, бинтовал, только зубами поскрипывал, дьяволенок. И в кого он такой у тебя?

Сережка сорвался вечером с подножки товарного поезда, отошедшего от станции Горкино. Его подобрала мужики соседней деревни. Он долго не хотел признаваться, чей он, откуда и зачем прицепился на подножку. Наконец бабы, ручьями разливавшиеся: — а каково-то теперь твоей мамушке, — разжалобили его, и он сказал, что пришел на станцию Горкино из Родников и назвал адрес.

Когда, наконец, чужие ушли, Анна Петровна, ни словом не попрекнувшая сына, поднесла ему блюдце остывшей каши. С жадностью отощавшего волчонка Сережка кинулся на еду.

— Я сам, я сам, — крикнул он хрипло, когда мать попыталась кормить его с ложки.

Правая рука у него была забинтована. Он неловко, но упрямо черпал кашу левой. Вся его распухшая, исцарапанная, жалкая рожица была измазана желтым разваренным пшеном.

— Не больно тебе, сынок? — робко спрашивала Анна Петровна.

— Не, — упрямо тряс головой сын.

Он ел и с набитым ртом говорил. И мать, хоть и не верила ни одному слову, поминутно задавала жадные, сбивчи-

вые, торопливые вопросы. Сережка рассказывал охотно. Но, батюшки мои, что он рассказывал!

Анна Петровна и теперь, спустя много лет, слово в слово могла бы повторить его рассказ.

Сама она с детства была большой выдумщицей. Подруги, а потом собственные ребяташки заслушивались ее сказок, но то, что рассказал ей Сережка, ей никогда не взбрело бы в голову.

Только что дошли до их городка смутные слухи о революции (Соколова в то время и слова-то этого выговорить не могла), а Сережка уже рассказывал, что побывал в Петрограде и сам за шиворот стащил царя с золотого, украшенного самоцветными камнями трона. И на фронте у отца он побывал, и множество геройских подвигов совершил, и немцев перебил такую кучу, что их потом не могли втиснуть в десять товарных вагонов...

Анну Петровну сначала сердило такое бессовестное вранье, она пыталась добиться хоть одного слова правды, но понемногу сама, как маленькая, увлеклась выдумками негодного мальчишки.

Сережка вдруг оттолкнул блюдце с недоеденной кашей и длинно, грубо выругался.

— Господи Иисусе, где ж ты словам-то таким выучился? — ужаснулась Анна Петровна, но, встретив взгляд сына, замолчала: она поняла, что ругается он потому, что ему очень больно.

Он кривил рот, шевелил бровями и злыми глазами косился на мать.

Ни за что не признается, что ему больно! Весь в отца. Сергей Сергеич тоже, если что неладно, или горе какое, или боль, никогда не расстраивается, не горюет, а злится...

Сережка уложил, наконец, поудобней больную руку, боль утихла, он опять потянулся за едой. Анна Петровна всегда удивлялась, сколько он может зараз съесть, такой маленький. Иногда его прожорливость приводила ее в полное смятение: время трудное, отца дома нет, ну как прокормить такого волчонка?! Но сегодня мать только радовалась, когда сын говорил:

— Еще давай!

Раз от еды не отбил, скоро на ноги встанет.

Сережка утолил, наконец, свой голод. Бойкие серые глаза стали вдруг добрыми, детскими, сонными. Он потянулся к матери здоровой рукой, застенчиво прижался лбом к ее локтю.

Анна Петровна осторожно, чтоб не сделать больно, обхватила обеими руками вихрастую голову.

— Кузька, — сказала она шопотом на ухо сыну, — маленький Кузька.

Так звала она Сережку, когда ему, было два-три года. И он ответил ей так же, как тогда:

— Ты моя зайнька.

Видно после своих таинственных ночных приключений, после пережитого страха и упрямой борьбы с болью ему радостно и тепло было, прижавшись к мягкой материнской груди, почувствовать себя снова маленьким трехлетним «Кузькой»...

Пряча улыбку и счастливые слезы, старая женщина склонилась над станком, поправила основу, привычным движением сменила початок. Опять загрохотал станок.

Так неувядаемо свежи были эти давние волнения, что она забыла о настоящем, о своей старости и одиночестве. Снова чувствовала она себя беспокойной, но счастливой матерью семилетнего Сережки.

Сколько горя, тревог, забот доставлял ей этот вихрастый сорванец, как трудно было справляться с ним без отца, но зато как умел он одним ласковым движением с лихвой вознаграждать за все!

II

Анна Петровна поминутно сменяла толстый уток одеяла, привычным взглядом всматривалась в темную чашу тонкой основы сатина, находила обрыв, неуловимо быстрым движением узловатых старческих, но все еще ловких пальцев надвязывала крошечным узелком синюю нить, заводила ее в бердо...

Маленькая и легкая, как в молодости, она не спеша переходила от станка к станку, и простое не было. Только дойдет уточная нить на широком станке, а Соколова уже тут как тут, почти на ходу сменит початок. Станок все время в движении, все равно как в зале автоматов.

Давно уже задумывалась Соколова о том, что можно бы перейти на более высокое уплотнение.

— Или два узких к одеялу прибавить, — думает она, — или два одеяла ткать?

А давно ли, кажется, женщины только и работали на одном станке тонкий и узкий сорт? И то считали, что еле управляются. Катя Лопухова (ей теперь уже за пятьдесят) первая из женщин начала ткать одеяло. Сима Тарасова (то-

же немолоденькая она теперь) — вторая, Анна Петровна — третья. Тогда об этом много разговоров было, а вскоре у всех широких станков мужчин сменили жонки. Потом та же Катя Лопухова решила, что можно к одеялу прибавить еще станок с тонким сортом, взяла ткань сорочку. Анна Петровна присмотрелась к ее работе, договорилась со сменщицей и тоже встала на два станка. Разговоров было еще больше, чем после перехода на мужскую работу. Ленивые ткачихи, любившие поспать во время ночной смены, считавшие, что если помастер заправляет основу на их станке, — они могут на законном основании бездельничать, шумели больше всех.

— Ишь, жадность ее разбирает, — слышала она громкий шопот за своей спиной, когда длинная вереница ткачих двигалась вечером по темному двору — заступать на ночную смену. — Старик-то Соколов сколько денег загребают, могла бы вовсе не работать, а ей все мало — два станка подайте. А там, глядишь, другая, третья раззавидуются, а начальство и радо, скажет — нормальное это уплотнение, все так работайте.

До слез было обидно Анне Петровне слушать такие речи. Уж в чем, в чем, а в жадности она неповинна...

Лопухова и Тарасова — бабы шумливые, с зычными головами старых ткачих, сразу бы сцепились с шептуньями, потому-то за их спинами и разговоров таких меньше, а Соколову все знают как тихоню, надеются, что смолчит. И она на самом деле молчала. Всю жизнь ей поперек дороги вставляли робость, нерешительность, застенчивость. С малых лет ее дразнили плаксой и трусихой. Боялась она всегда шумных перебранок, ссор. И когда узнавала по голосу, кто говорит за ее спиной, она даже старику своему не передавала этих сплетен и особенно (упаси, боже) скрывала фамилии. Сергей Сергееч не то, что она, не стерпит, подымет бучу...

Но сейчас, когда многие ткачихи взяли к одеялу еще и тонкий сорт, все к этому привыкли, перестали болтать. А Соколова уже который месяц задумывается о том, что можно бы и на более высокое уплотнение перейти, но пока что молчит, боится. Пусть лучше Лопухова с Тарасовой пробуют, а она сразу за ними... Но было все-таки обидно, почему она вечно на людей оглядывается — что скажут? Больно ей наплевать на болтовню разных лентяек. Устроить бы гнездо поновому, ящики с утком расставить так, чтобы от станка к станку только шагнуть да наклониться... А, главное, временем дорожить надо. Многие мелкие неполадки в станке Ан-

на Петровна давно привыкла устранять сама, старалась реже вызывать поммастера — уж больно много времени тратишь, пока за ним бегаешь. А в этом месяце старуха до того осмелела, что припасла с благословения мужа кое-какой слесарный инструмент, ключи гаечные и за поммастером и вовсе бросила ходить. Только основу оставалось ему заправить...

Чувствовала Анна Петровна, что следует поделиться своим опытом с другими, да все откладывала, не решалась... Но когда-нибудь этот день придет...

— Или лучше с Катей поговорить, может она надумает, а я за ней! А то высунешься вперед — сплетен не оберешься, да еще заставят на собрании выступать — больше мученья, чем радости.

Один раз пришлось Анне Петровне выступать на собрании. Давно это было, но до сих пор свежо чувство одуряющего страха перед многолюдным залом, в котором она не различала ни одного знакомого лица. Даже собственного мужа, сидевшего на первой скамейке, узнать не могла. Беспомощная, забыв все, что хотела сказать, топталась она у края высокого помоста. До сих пор, когда случается по дороге из столовой проходить мимо зала собраний, ей чудится, что незнакомые, требовательные и насмешливые слушатели за полными все жесткие, выкрашенные синей краской диваны с прямыми, высокими, неуютными спинками...

— Нет, уж лучше пусть Катя, а я за ней, — повторила она про себя и, остановившись на решении поговорить с Лопуховой, сразу почувствовала облегчение.

Смена подходила к концу.

Часов у Анны Петровны не было, ни у кого она не спрашивала о времени, все шло своим чередом — огромный, залом не окилешь, «первый номер» мощно грохотал всеми своими тысяча сто семьдесятю станками. Сливаясь, крутились трансмиссии, прибывала ткань на навоях, повязанные разноцветными косынками головы склонялись над автоматически останавливающимися станками, быстрые пальцы разбирали густую чашу нитей, привычные глаза (у многих сквозь очки) легко находили обрыв. Молниеносным движением пальцев ткачиха надвигывала и заводила нить, и опять грохотал станок, опять птицей летал в прозрачном нитяном коридоре подхлестываемый гонялкой проворный челнок, а ткачиха, заложив за ухо или заправив в кармашек, а то и зубами зажав заводной крючок, шла к другому станку, сменяла початок... Изредка соседки подходили одна к другой, перебрасывались короткими фразами. К опытным ткачихам прибегали молодые, просили совета, помощи.

— Хоть бы учениц снова прикрепили, — думала Анна Петровна.

Оторвавшись мыслью от далеких воспоминаний, она начала беспокоиться, ее потянуло к людям. В прошлом месяце, бывало, девчонки-ученицы так задурят ей голову своими вопросами, ошибками — брак за них разрабатывать приходилось, или челнок не так зарядят, так ни на что времени не оставалось, только план выполнить, не размечтаешься, не то что одна... И хоть казалось старухе, что недостаточно плотно загружен у нее рабочий день, и хоть и беспокоило ее это, все же еще больше пугало то, что смене скоро конец.

Бывало, она с нетерпением ждала этого часа, радостно улыбалась подошедшей сменщице, поспешно рассказывала ей о состоянии гнезда, и, застегивая на ходу пальто, высккивала во двор. А думы, опережая ее, мчались к дому: как-то там? Не натворил ли чего-нибудь Сережка?

Теперь Анна Петровна тосковала, чувствуя, что смене скоро конец. Она сама не знала, как это случалось, но теплый и радостный, хоть и тревожный мир сережкиного детства возвращался к ней только во время работы.

...Мальчик рос. Вот он кончил девятилетку. Отличником. Завтра он уезжает в Москву в летнюю школу!

— Учись, парень, — говорит отец и непривычным Анне Петровне, каким-то суетливым, нерешительным движением разглаживает сивые усы, поспешно развязывает кисет с табаком-самосадам, который сам выращивает и курит наперекор жене и друзьям, зажимающим носы от нестерпимо едкого дыма. — Учись, парень, теперь не царские времена. Мы, вот, с двенадцати-тринадцати лет на работу становились, а вы учиться можете хоть до двадцати пяти. Пользуйся, становись человеком.

И еще что-то в этом роде говорил Сергей Сергееч. Анна Петровна чувствует, что у отца есть другие, не такие учительные, а теплые, настоящие слова, но она знает, что старик ни за что их не выскажет, язык у него не повернется. Они с сыном — одно. Послушать — сухие, черствые, неласковые люди, но она-то знает... «Видит, как прячутся от нее под косматыми бровями глаза мужа, слышит стеснение в слишком громком суровом голосе, замечает, как чуть дергаются, скручивая цыгарку, крепкие, длинные, с вьезшейся у ногтей чернотой пальцы... Мальчишка, конечно, тоже ломается, тоже делает вид, что ничего не случилось, что ему не впервой уезжать из родного дома, что ему, может, надоели, как не знаю что, все эти проводы, разговоры.

Уехал Сережка.

Отец, сердито хмыкая, твердо шагал по скрипучим половицам насквозь продымленной воюющим самосадам кухни.

— Скоро кончишь, мать? Или до завтра будешь сырость разводить? А? Думала — до тридцати лет парень будет к твоей юбке пришит?

— Зачем к юбке? — сквозь слезы говорила Анна Петровна. — Не один он учиться поехал. Я ж ничего и не говорю. А только как ему советовали в Иваново — в текстильный институт! Господи, царица небесная! Был бы недалеко, на выходные дни приезжал бы. И всегда было бы с кем послать ему домашнего печенья. Я знаю, как их там кормят. А кончил бы: — вернулся бы инженером на комбинат. Один ведь у нас остался. Ты подумай только: восемь раз рожать и одного вырастить...

Но прошел год, другой... Анна Петровна идет, бывало, по улице, услышит в небе гуденье далекого самолета и шею выворачивает, старается рассмотреть еле видную блестящую птицу: а вдруг Сереженька домой залетел...

И когда в самом деле на родину, в тихий городок с поэтическим названием — Родники, приезжал в отпуск блестящий летчик-испытатель большого московского завода, старуха чудесно молодела и вся светилась гордостью и счастьем.

На комбинате о приезде Сергея узнавали в тот же день. Среди молоденьких товарок Соколовой начинался переполох. К проходной будке, возле которой Сергей поджидал мать после смены, Анна Петровна подходила, окруженная смеющейся, оживленной толпой девушек. Яркие праздничные косынки пестрели, как цветы, любопытные молодые глаза то застенчиво, то задорно посматривали на высокого летчика, затянутого в синюю с голубыми петлицами форму. И мать, с тайной надеждой, украдкой заглядывала в острые, холодные глаза сына: — не приглянулась ли ему какая-нибудь из девчонок?

Женился бы здесь, невестка у стариков бы поселилась, внучата... Сколько планов строила мать — как бы привязать покрепче Сергея к родному городу, но ни разу не посмела поделиться этими планами с сыном. Замкнутый, молчаливый, как отец, неласковый... Что у него на душе, чем живет, что любит, к чему стремится?..

И все же, как радостно было идти бок о бок с ним по прыгающим пружинящим мосткам длинной Больничной улицы! Правда, Сергей заметно отвык ходить по высоким деревянным родниковским тротуарам: доски подскакивали и громыхали у него под ногами, и он все норовил сойти на твердую, ровную, хотя и мокрую, хлюпающую землю.

Смена кончилась. Восемь часов. А ночная заступит только в одиннадцать.

Очень не нравилось Анне Петровне кончать работу, не передав ее с рук на руки сменщице. То ли дело после ночной — там перерыва нет, все расскажешь, объяснишь, а тут...

Анна Петровна поверх очков оглядела свое покидаемое до завтра хозяйство. Хотя смазкой и обмашкой станков полагалось заниматься до смены, Соколова, уходя после дневной, всегда задерживалась немного, чтобы привести станки в такой вид, что хоть на выставку. За сорок четыре года она успела полюбить машины так, как хорошая хозяйка любит свое домашнее обзаведение.

Кроме заботы о станках, Анну Петровну удерживало в цеху после смены и другое чувство: страшно было уходить с людной, по-деловому оживленной фабрики с ее размеренным временем, стройной и простой организацией труда в свой пустой одинокий дом. Старик, с головой ушедший в свои изобретения, до глубокой ночи пропадал в механической мастерской. Да еще через день дежурил там же в группе самозащиты.

Несмотря на усталость, Анна Петровна охотно отстояла бы вторую смену. Утомление не пугало ее, она жаждала забвения, глубокого, без сновидений сна...

Тяжело вздохнув, она достала из вместительного кармана серой широкой старушечьей юбки плоскую блестящую коробочку, ладно выточенную из куса выдержанной березы, открыла ее, поставив на столик, притулившийся в узком про стенке.

Дно коробки было выложено толстым слоем белой, аптечной ваты. Анна Петровна сняла очки, долго старательно их протирала чистым платком, потом осторожно уложила на вату и закрыла коробку.

Дорого достались ей эти очки. Столько она из-за них переволновалась, что теперь и пользоваться ими боится.

До войны она могла еще работать в утреннюю смену без очков: но в последнее время зрение у нее начало быстро слабеть.

До слез, до рези в глазах всматривалась она сквозь слабые стекла в темносинюю гущу основы сатина и никак не могла найти обрыва. До того дошло, что в декабре она, признанная стахановка, недовыполнила плана.

Сначала она не очень испугалась: — в их «первом номере» немало ткачих работало в очках. На Родниковском ком-

бинате люди не уходят с фабрики с первыми признаками старости. Много ровесниц Анны Петровны стоит за станками во всех цехах. В четвертом, например, нет ни одной ткачихи со стажем меньше тридцати лет, а командир их — начальник четвертого цеха Павел Алексеевич Докучаев сорок девять лет работает на комбинате. Ракитин Василий Абрамович, так тот за пятьдесят шесть трудовых лет не прогулял ни одного дня и не болел ни разу. Много на комбинате замечательных стариков. Сорокапятилетним стажем никого не удивишь.

Анна Петровна спокойно дожидалась своей очереди в амбулатории.

— Что ж, мамаша, — подумав, сказала молоденькая кудрявая докторша. — Прописать очки я вам могу, но достать стекла будет трудно, глаза у вас стали разные... В общем можете выйти на пенсию. Годы ваши такие..

Анна Петровна охнула.

— На пенсию! Да это же смерть! Истинная смерть! Я только и живу на фабрике. Дома у меня такая пустота.

Анна Петровна проглотила всегда теперь готовые слезы, сдержалась.

Докторша вдруг внимательно посмотрела на нее.

— Соколова? — медленно и неуверенно повторила она. — Вы — мать капитана Сергея Соколова? Я была немного знакома с ним, и потом в газетах читала...

Анна Петровна глотнула раз, другой, но слезы все же залили ее бледное, морщинистое лицо.

— Дорогая, товарищ Соколова, — взволнованно сказала докторша. Ее полные девичьи губы запрыгали, глаза покраснели. — Утешать тут глупо и нечем, но мы все несем это, весь народ... У меня братишка убит, восемнадцати лет добровольцем пошел... Все мы... Конечно, вы будете работать, только в этом и утешение, чтоб мерзавцам на погибель... что мы и в горе не сломались, — бессвязно и ласково говорила она. — Вы должны гордиться, что вырастили такого сына.

— И в память его работать, — не вытирая хлынувших слез, всхлипнула Анна Петровна: — Он с фронта писал: — радость ему, что мы оба со стариком на оборону работаем. А теперь-то... Какая тут пенсия.

— Да нет же, я просто не знала — кто вы, не подумала, — оправдывалась докторша. — Сейчас выпишу очки. Одна тут едет в Москву в командировку. Постараемся достать.

Пока не привезли из Москвы новых сложных очков, Соколова продолжала работать в старых, но день ото дня ста-

новилось все труднее. И когда она задумывалась, что с нею будет, если все-таки придется выйти на пенсию, она вся холодила.

— Брось ты скулить, Петровна, — напускалась на нее соседка, шумливая здоровенная бой-баба Антиповна. — Больно уж ты на слезы слаба. Вот, мы с тобой одногодки и на фабрику вместе пошли, а посмотри на меня — сроду очков не надевала да, видно, и не надену до самой до смерти. А все потому, что глаз у меня сухой. Горе не горе — не реву. А уж ты-то знаешь: всякого-разного со мной перебивало. И мужа схоронила, и сын в тюрьме сидел. А у тебя потому и глаза слабеют, что слезы их выедают. И чего тебе за фабрикой горевать? Сиди дома, хозяйничай. Вот, смотри на меня, — повторила она свои любимые слова, — всем себя в пример ставила:

«Будто ты когда-нибудь по-моему работала?» с обидой подумала Анна Петровна, но смолчала. Ей всегда было трудно сказать человеку что-нибудь неприятное.

— У тебя семья, Антиповна, много дела дома, — мягко возразила она. — А у меня какое хозяйство? Старик дежурит по суткам через день, обедаем на фабрике, у обоих обед качественный, стахановский, дома — картошка своя, капуста своя. С тоски дома умрешь! Небось за сорок четыре года к фабрике-то привыкла.

— Точно! Дома и то, пожалуй, закиснешь одна. Ну что ж, не годятся глаза для нашей работы, иди в детский садик няней.

Анна Петровна ничего не возразила, но и после, когда получила новые очки и работа пошла по-хорошему, наедине с собой она часто вспоминала этот разговор. Детский сад... Дети были ее большим местом. Возвращаясь домой со смены по длинной Больничной улице, она мысленно пересчитывала знакомые дома — в каждом доме были дети. У каждой старухи были внучата.

Словами она выразить не могла, но сердцем чувствовала, что это несправедливо, неправильно, что так не может, не должно быть, чтобы у человека не осталось продолжения в мире.

Восемь раз рожала она, не досыпала, не доедала, холила ребятшек, но вырастить удалось только одного, и этот один... Ведь тридцать два года ему уже было... Сколько невест она ему присматривала...

Из цеха Анна Петровна не вышла сразу во двор, а по длинным, широким коридорам направилась в сторону браковки. Большинство ткачих попадало сюда не по своей воле: вызывал браковщик разговаривать: — почему столько недосек, почему одеяло полосатое, один початок серый, другой желтый, третий песочный? Анне Петровне к большому столу, на котором браковались толстые и широкие сорта, никогда приближаться не приходилось. Только издали видела она, как худощавый пожилой браковщик клеймит и складывает плашмя длинные свертки принятого товара, а стоямя ставит забракованные и на каждый поставленный кусок прилепливает желтую записочку с фамилией ткачихи, которую нужно вызвать для объяснений. Все это Анны Петровны не касалось, но в браковку она заглядывала частенько к своей старой подруге Татьяне Дымовой. И сейчас решила зайти за Татьяной, — жили они по соседству.

Несмотря на разницу характеров, дружили они всю жизнь, с малых лет. Вместе ходили три зимы в школу, вместе пришли ученицами на фабрику Красильщикова. По девятнадцати лет отломали бок о бок за соседними станками у хозяина. Вместе встретили светлую зарю новой жизни. Замуж вышли в один год и по первому разу рожали через месяц одна после другой. Ребятишки вместе росли, дрались, играли, дружили. Когда Сергей и третья дочь Татьяны подрастали, обе матери начали строить планы: как бы их поженить. Подолгу, сидя летними вечерами в маленьком густозеленом садике Соколовых, подруги тешились, обсуждая самые мелкие подробности желанного брака, как будто дело было решенное. Не обходилось и без споров, каждая мать по-своему представляла себе счастье своих детей. Анна Петровна в конце концов всегда соглашалась. Где ей, тихоне, было переспорить шумную, властную, настойчивую Татьяну.

Но дети, как это всегда бывает, устроили жизнь по-своему. Сергей уехал учиться в Москву, Валюшка вышла замуж за молодого поммастера своего цеха. Зять попался удачный, и Татьяна скоро утешилась, что вышло не по ее. Грустит до сих пор одна Анна Петровна. И, встречаясь с Дымовой, не чувствует она прежней откровенной легкости отношений. Какая-то неловкость, что-то недосказанное встало между старыми подругами. И хотя Соколова попрежнему любила Татьяну и скучала, если долго ее не видела, все же едкая зависть к чужому счастью нередко мешала ей открыто смотреть в глаза Дымовой. Дочь, две невестки и

четверо внучат живут с Татьяной, три сына и младшая дочка на фронте, все живы. И тревоге за них, волнениям и бессонным ночам, мучительному ожиданию писем завидует Анна Петровна не меньше, чем радости, приносимой веселыми, здоровенькими внучатами. Как ждет Татьяна прихода почты, как часто бегаёт в свободное время на станцию узнать — пришел ли московский... А ей, Нюре, ждать, как будто нечего, спать можно крепко...

Впрочем, она тоже ждет и как ждет!

В огромном зале над широкими столами горели затененные металлическими абажурами мощные лампы. Складальная машина ровными, безостановочными взмахами укладывала товар. Из-за высокой кипы белой ткани Анна Петровна услышала громкий, решительный басовитый голос Татьяны, она что-то рассказывала, смеялась.

— И чего я людям набиваюсь со своими слезами... — неожиданно для себя самой с горечью подумала Соколова. — Вот она смеется, а войду — сразу припостынится, скиснет, как молоко в грозу. В глаза не смотрит... Кому я нужна?

Она повернулась и медленно пошла по широкому, гулкому коридору. Она чувствовала себя очень маленькой, старой и несчастной. Усталость, не от сегодняшней десятичасовой смены, а от всей сорокапятилетней неустанной трудовой жизни сгибала ей спину и плечи.

— Кому я нужна? У каждого свои заботы, свое горе, своя радость.

Но ей-то люди нужны. Она не такая, как ее старик. Она не может с молчаливым ожесточением носить внутри свою скорбь. Ох, уж этот старик!

Сорок один год живут они вместе и, как будто, хорошо живут. Но как холодно и одиноко с ним в эти дни разъедающей боли! Ни поговорить о Сереже, ни поплакать вместе... Завидев ее слезы, он лишь зубы сжимает. А заговорит — только про немцев, только при Гитлера проклятого. И нет у него другой думы. Будто высохло все, вымерзло, — ни горя, ни любви, ни жалости, — одна черная ненависть, ею живет.

Смолоду он был сухопарый и с лица темный, а теперь и вовсе почернел, высох. Но двужильный! По-трое суток без сна может работать, на обед времени жалеет, и все ему ничего. А ведь шестьдесят шестой пошел с осени. Он весь в будущем, весь в надежде на месть. Хоть и не говорит с нею об этом Сергей Сергеевич, но старая подруга сердцем чувствует, что не хочет он себя расслаблять, лаская, как она,

грустной сладостью далеких воспоминаний. Кремневый старик!

Соколова гордилась мужем. Как молоденькая девушка, краснела, когда при ней вспоминали про устроенное в прошлом году торжественное чествование старого механика. В работе его она ничего не понимала. Он и прежде не любил распространяться дома про свои дела, а теперь подавно: все, что ни делает, над чем ни работает, — все секретное.

Анна Петровна привыкла чувствовать к своему молчаливому, суровому спутнику робкое уважение, покорную нежность, благоговение, почти страх. Но сегодня она что-то взбунтовалась против него.

— Идол каменный. Будто и не отец, — с озлоблением думала она. — Ни одной слезиночки не пролил.

Все старые-престарые, казалось, давно забытые обиды припомнила Анна Петровна своему старику.

— Всю жизнь такой был. Связалась с ним на свою погибель.

Вспомнила вдруг старуха, какая хорошая была она — Нюра Забелина в девятнадцать лет, когда посватался к ней молодой механик Сергей Соколов. Беленькая, глазастая, пелуныя. И хоть тихоня, но вся такая радостная, светлая. Сколько парней на нее заглядывалось! Федька-Цыган — лучший гармонист, первый силач и горлан в слободе, зубастый, драчливый парень — робким ягненком ходил за нею следом. Пять раз возобновлял сватовство, но она, как полюбила сурового, неразговорчивого Соколова, так за всю жизнь ни на кого другого и смотреть не хотела. Задумал Федька Сергея убить, да не таков был Соколов, чтобы даться. Плечи да кулаки у него были не такие видные, как у Цыгана, но в драке никому не уступали. И с тех-то пор, как увидела Нюра Сергея, измазанного кровью, с выбитым передним зубом, но гордого, злого и неустрашимого, присохла к нему сердцем навсегда.

«Вот и казись теперь, дура. Сама выбирала! А какой парень-то Федя был!» — словно дразня кого-то, вспоминала она.

С радостным задором старая женщина воображает, как злобствовал бы угрюмый, вихрастый Сережка Соколов, если бы она вышла за Федю. Цыган-то хоть и хулиганистый, а ласковый, разговорчивый был, не то, что Сергей.

Сама щедрая на любовь, Анна Петровна всегда жаждала открытой, не стыдящейся себя ласки, и так мало этой ласки пришлось на ее долю! Всю жизнь играли в молчанку... Правда, зато Соколов никогда не пил водки, не буянил, как Федька, мужем был верным, не бегал за бабами

— Да, уж этого за ним не водилось, — с гордостью думает Анна Петровна. — Все, что кроме работы, — для жены, для семьи.

Но ревнивый же был в молодости!

— Всегда про меня дурное думал, — шепчет она с горечью. — Такой уж человек. Кажется, против него-то уж была я безгрешная. В мыслях за сорок один год ничего не было. А ведь не верил, поди ты! И теперь такой же встался: или все равно, как рыба, молчит, или заговорит — того хуже, хоть из дома беги.

С острой, горячей обидой вспомнила Анна Петровна недавний разговор.

— Знаю я тебя, — говорил старик, сердито хмыкая и в облаке вонючего дыма твердо шагая длинными, прямыми, как ходули, ногами по скрипучим половицам кухни. — Знаю тебя. Всегда ты святошей была, добренькой, жалостливой. Тебе сейчас немца пленного, голоштанного покажи — пожалеешь. Это уж точно: пожалеешь. Не подумаешь того, что он землю нашу сапожищами своими погаными истоптал, дерьмом своим вонючим загадил: пожалеешь, говорю, пожалеешь! — гремел он, все повышая голос, хотя Анна Петровна, прижавшись в углу возле стола, ни слова ему не возражала. — А не подумаешь того, что, может быть, этот самый гад сына твоего убил. Не подумаешь! В голову тебе не придет. Скорей вспомнишь, что у него, бедненького, тоже мамаша ест, тоже плачет, небось, несчастненькая, изошла вся своими фашистскими слезками.

— Да перестань ты, Сергей Сергееч! — не выдержав, вся красная, вскочила Анна Петровна. — Всю жизнь ты про меня дурное думал, такое, что мне и в голову бы не взбрело. Такой уж ты подозрительный человек. А про немцев ты, ей-богу, напрасно говоришь. Против них у меня сердце каменное. И матерей их фашистских никогда не пожалею. Это можно до того договориться, что ту суку, что самого Гитлера родила, пожалеть надо. Ты уж рад на меня придумать!

— Ну, ну, разнюнилась уже, готово, — сердито сказал старик, но в привычно суровом голосе его жена различила извиняющиеся, удовлетворенные нотки.

В тот день этим и кончилось, но ссорились они часто. Ох, как часто! За всю жизнь такого не было. Казалось, общее горе не сблизило, а разъединило их. И во всем виноват старик. Свое ожесточение он срывает на ней. Злят его заплаканные глаза жены. Хочет, чтоб все, как он, кремневые были.

Таким и Серезенька был... Но его ли упрекнет сейчас в чем-нибудь мать! Есть ли обида, которую всем сердцем, всей жизнью до конца не простила бы она ему?

Последний раз, когда заехал он на несколько часов попрощаться с родителями... Как они тогда со стариком друг перед дружкой красовались! Шутили, поддразнивали один одного. Будто все им нипочем. Будто не на войну, а на курорт сын уезжает. Такие уж люди. Никогда сокровенного вслух не скажут.

Матери Сергей сказал, как только вошел:

— Я все понимаю, мама, но если увижу хоть одну слезинку, — уеду через десять минут.

Но мать запомнила не эти жестокие слова, она запомнила виноватый, просящий прощения, нежный взгляд подобревших детских глаз, запомнила сердцем услышанное волнение сына, жалость его к старикам и, может быть, скрытое предчувствие, что в последний раз уходит он из родного дома.

С горлом, крепко перехваченным рыданиями, Анна Петровна опустила прямо в мягкий, высоко наметенный ветром снег.

— Ни одной слезиночки ты и не увидел, — качаясь и поддерживая обеими руками укутанную пуховым платком голову, шептала она. — Не подвела тебя мама, помогла поддержать свое мужество, Серезенька, сынок, Кузенька твой маленький, единственный.

Сжимаясь в комок, повалилась она в сугроб. Задыхаясь, жадно кусала стынущими губами мягкий рассыпчатый снег; он таял, политый едкими горячими слезами.

— Никого у меня не осталось, — жаловалась она сыну. — Старик хуже чужого стал. Уйти от него куда глаза глядят.

Она порывисто вскочила и, спотыкаясь и скользя, побежала куда-то в белесый мрак затемненной зимней улицы.

Долго ли она так шла, — Соколова не знала, но вдруг с удивлением заметила, что очутилась совсем в стороне от дома — на однобокой Кинешемской улице.

Здесь тоже почти в каждом доме жили знакомые — ткачихи из первого цеха, ватерщицы из прядильной...

Со всех концов города и далеко за город — в окрестные деревни тянулись длинные нити комбината, город жил, дышал им...

Но не эти мысли занимали сейчас Анну Петровну. Проходя мимо знакомых домов, она привычно подсчитывала: — У Авдотьи трое дома, двое на фронте, у Марьи Долгушиной одна Танюшка дома, сыны все в армии, Виноградова тоже с одной младшей дочкой живет.

Но дети были в каждом доме.

Хотела Анна Петровна еще прошлым летом усыновить осиротевшего ребенка. Многие это делают, даже те, у кого своих куча. У Марии Александровны — парторга ткацкой фабрики — подросла дочка, так она взяла ленинградского мальчишка-сироту. Многие берут. А ей вот старик не позволил.

— Хватит нас с тобой ненадолго, — сурово сказал он. — Вырастить не успеем. А раз известно, что не успеем, — нечего и смущать его. Я тебя знаю — избалуешь, полюбит, а там второе сиротство.

Холодно и страшно стало Анне Петровне от этих слов, но спорить она не стала. Правда, что после известия о смерти сына плохой стал старик, одной ненавистью держится.

Анна Петровна вышла к станции. На путях чернели силуэты вагонов, за ними, слабо освещенное молодым месяцем, раскинулось широкое, белое, зовущее таинственным простором озеро.

Постояла старуха немного на путях, вздохнула и неспешным, мерным шагом дальнего путника двинулась в сторону от города — к станции Горкино.

Часто по воскресеньям и после ночных смен бессонница и тоска гнали ее туда, за несколько километров. Садилась старая на скамейку на пустынной платформе и ждала... сама не зная чего.

Когда проходил московский поезд, станция оживала, закипала людьми. Поезд стоял десять минут, потом уходил в Кинешму, платформа пустела. Анна Петровна тихонько вздохнула, не спеша подымалась, а потом, вдруг засуетившись, бежала шаркающими старушечьими шагами к рабочему родниковскому поезду, которому уже подали паровоз.

На встречи московских поездов она незаметно растрчивала столько душевных сил, что после них чувствовала себя совсем слабой и опустошенной, знала, что не сможет добраться домой пешком.

Но сегодня она недолго шла по прямым заснеженным путям.

— Батюшки! Как это из головы вылетело! Ведь сегодня Сергей Сергеич не дежурит ночью, придет домой.

Анна Петровна повернула и поспешно устремилась обратно к смутно чернеющей вдали громаде комбината, к дому.

Опасение, что Сергей Сергеич вернется раньше ее, и стыд, что забыла она свои обязанности жены и хозяйки, гнали ее назад скорей, чем недавнее горестное смятение.

Две небольшие комнаты и совсем маленькая кухня — чисты и аккуратны. Видно, некому сорить, переставлять в беспорядке стулья, грязнить пол. И запах какой-то нежилой, словно хозяйка ушла отсюда не сегодня утром, а много месяцев тому назад.

Только въевшийся во все вещи и, должно быть, в самые стены дух вонючего самосада напоминает чем-то обитателей этого полупустого дома.

С давних пор любила Анна Петровна чистые, солнечные, нарядно и уютно убранные комнаты, цветы на подоконниках, подкрахмаленные кисейные занавески, картинки на стенах.

Была она великая рукодельница, на все у нее прежде хватало времени. Покрывало на высокой кровати снежно-белое, прозрачное, было затейливо и искусно вывязано по особенному рисунку, который выдумала она сама. Ее же работы, правда не ручной, а машинной строчки, были чехлы на широком с деревянной полочкой и зеркальцем диване и двух симметрично и торжественно расставленных креслах.

Но уюта, красоты, тепла и света жаждала она не для себя, а для кого-то другого, кто вместе с ней радовался бы им, любовался ими. Холодный, пустой, одинокий уют был все равно, что мертвое тело, глядя на него — только плакать хотелось.

Не любила теперь Анна Петровна возвращаться домой. Особенно в те дни, когда Сергей Сергеич оставался на дежурстве.

Старуха заглянула в русскую печь, вытопленную рано утром, до смены. Щи были теплые, каша в горшке тоже еще не остыла.

Но в комнате было как будто холодно, или это познабливало от прогулки по морозу да мыслей тоскливых. Анна Петровна решила затопить маленькую, как игрушка, аккуратно вмазанную в кирпичный футляр времянку.

— Пусть уж хорошенько погрееется, — заботливо думала она про старика. — Небось в мастерской-то у него не ахти как тепло, не ткацкий цех.

Сухие дрова вспыхнули сразу, в длинной железной трубе загудело, завыло. Анна Петровна села за шитье. Полувековая привычка к труду и в мирное время не позволяла ей сидеть праздно, а теперь и подавно. С первых дней войны она стала брать в швейной мастерской готовый крой фла-

нелевого белья и строчила рубахи и кальсоны для фронтовиков. Машина у нее была хорошая, хотя и очень старая. В механике Анна Петровна не понимала ничего, но недаром она сорок пятый год стояла у станков, привыкла чистить, смазывать их, привыкла следить, чтобы не разбалтывались гайки, чтоб все было отрегулировано. На швейной машине она работала так же, как на ткацком станке: легко и чисто, только первым сортом. Швы были ровные, каждая вязочка лишней раз прострочена, чтоб, упаси, боже, не оторвалась.

— Парни-то они здоровые, дернут — и нет вязки, рубаха, распахнется, кальсоны сползут.

Дома, так же, как на фабрике, привычная, хорошо налаженная работа не занимала мыслей, гладко и весело текла, как бы сама собой. Опять замечталась Анна Петровна и опять о прошлом — настоящее было слишком уж горькое, а в будущее она и вовсе боялась заглядывать. Что там? Еще несколько лет — и фабрику придется-таки бросить, а старик... Черной угрозой нависла над домом смерть. Вовсе плохой отец стал. Частенько приходится Анне Петровне слышать сочувственные причитания соседок:

— Ох, недолго твой Сергеич протянет, недолго...

Только в далеких воспоминаниях и спасалась Анна Петровна, тянулась мечтой к лучшему своему прибежищу — сержкиному детству.

...Вот он сжал пухлые губы, нахмурил еле заметные брови и, покосившись исподлобья на мать, деловито разорвал конверт.

Письмо было написано большими, круглыми, отдельно стоящими буквами. Водя по бумаге маленьким грязным пальцем, сопя и высовывая от усердия розовый кончик языка. Сережка упрямо читал про себя. Как бы трудно ему ни было, он ни за что не обратился бы за помощью к матери.

Анна Петровна с гордостью наблюдала за ним. И смешно ей было, что, такой маленький, он уже пишет кривыми неуклюжими печатными буквами и читает по-складам даже мелкую газетную печать, и с невольным уважением дивилась она — как это он сумел меньше чем за полгода, без материнской помощи, по неизвестно кем подаренному букварю с картинками, выучиться грамоте.

Уезжая на фронт, отец сказал:

— Учись писать, читать, Сергей. Напишешь мне — отвечу. Буду тебе письма присылать.

И Сергей выучился.

— Вот вам и Кузька! Большой человек. Или помог ему кто? — ревниво подумала Анна Петровна.

— Что папка-то пишет? — спросила она. — Мне сегодня ведь нет письма.

— Привет тебе передает, — складывая письмо и старательно засовывая его в мятый замусоленный конверт, важно ответил сын. Он держался сдержанно, хотя на мать поглядывал недоверчиво, с опаской: всерьез ли она говорит, не улыбнется ли, а то, еще хуже, не бросится ли целовать и тискать, приговаривая: «Лапонька ты моя, умница ты моя!»

Сережка сам ласкался очень редко и не любил, чтобы мать к нему приставала. Если же она, забывшись, пробовала поцеловать его или назвать ласковым именем при чужих, он приходил в настоящую ярость.

Уверившись, что мать на этот раз говорит серьезно, Сережка, помолчав, медленно сказал:

— Пишет — береги мать и сестренку. Пишет — помни, кроме тебя, нет мужчин в семье.

Эти слова Сережка знал наизусть. Они повторялись в каждом отцовском письме.

Мальчишка вдруг соскочил с табуретки и в два прыжка очутился у двери.

— Я дров принесу, — звонко крикнул он.

Через несколько минут в сенях послышался грохот, дверь распахнулась, ударилась о кухонный стол, зазвенела посуда, расплескалась вода из глиняного кувшина.

— Смотри, мам, я четыре полена!.. — возбужденно и хрипло орал Сережка.

Два дня после получения письма мальчишка ходил важный, серьезный и все смотрел — не нужно ли чего матери. Маленькую Нюрку он терпеливо и снисходительно придерживал за ворот вылинявшего розового платица, когда она, неуверенно переступая кривыми ножонками, ковыляла по комнате. По вечерам он спрашивал мать:

— Мам, ты завтра идешь на фабрику?

— Иду, сынок, кончили бастовать.

— Я буду нянчить Нюрку, — вызывался парень. — Не будем ее к бабке Фекле носить, она ее маком не опоила бы, старая ведьма. Хочешь, завтра дома оставим?

Но проходило несколько дней, отцовское письмо забывалось, и опять с Сережкой не было никакого слادا. Как ни дрожала Анна Петровна за сына, все же понемногу привыкла и не слишком пугалась, когда после смены ей навстречу выбегали соседские ребята и кричали, перебивая друг друга:

— Тётъ Нюра, ваш Сережка опять с дерева упал, нос расшиб. Кровь теке-е-е-ет.

Или:

— Ваш Сережка тётъ Тане окно разбил, к-а-а-ак саданет камнем.

Или:

— Вашему Сережке Ленька-Кривой вот такой здоровущий фонарь насадил.

Соседки жалели Соколову: шутка ли такое дитяtko себе на голову вырастить! Но сама она и в то время не считала себя несчастливой матерью, а теперь и подавно ей кажется райским блаженством иметь подле себя такого неугомонного сорванца...

А что, если не послушаться старика и усыновить сиротку?

— Может и успею вырастить, если не очень маленького взять. Ведь ничем я не больна. Только глаза слабеют. А шестьдесят лет — подумаешь невидаль, может еще долго проживу.

Анна Петровна живо представила себе, как, не сказав ни слова старику, устраивает все дело и приводит домой веселого вихрастого мальчугана.

— А старый-то полюбит его. Еще как полюбит! Приведу! Нельзя жить так, в пустом доме.

Доводы Сергея Сергеевича она старалась забыть, не хотелось задумываться о том, что лучше для ребенка — оставаться все время в детском доме или хоть недолго пожить в семье? Словами она не могла этого выразить, но чувствовала, какой щедрый запас материнской нежности, тепла, ласки лежит в ней без применения, и всем существом стремилась излить на кого-то это богатство. После получения известия о гибели сына она растерялась: ей казалось, что все перевернулось вверх дном и сама она живет одной половиной жизни — работой, а другая разбилась, раскололась на мелкие куски.

Нельзя жить без будущего. Прежде, бывало, все вперед задумывала: — вот подрастет Нюрочка... Вот Сереженька школу кончит... Вот женится он, приедет к нам гостить с женой, ребятишками...

А, может, жив он?

Начиналось самое страшное.

Эти раздирающие сомнения приходили только дома. На фабрике она все время чувствовала себя окруженной подругами, там не было одиночества, хотя в грохочущем ткацком цеху много не наговоришь, да и нельзя отходить от своего места, бывало, за целую смену двух слов не скажешь. И все же самые страшные мысли приходили только среди четырех стен маленького пустого дома.

— Мать святая, заступница, господь всемогущий...

Анна Петровна почти лежала на полу перед темными иконами. Большая, синего стекла, давно угасшая лампада заслоняла строгие, старинного письма лики.

— Мать пречистая...

В молитвах Анна Петровна особенно часто обращалась к богородице. В слове «мать» было что-то, заставлявшее надеяться — поймет, пожалеет, заступится.

При Сергее Сергеевиче молиться она не смела, он и образа-то терпел только потому, что, видно, забыл о них, не обращал внимания.

...семнадцать месяцев, неделя и четыре дня прошло с того страшного холодного вечера... Анна Петровна не вела никакого календаря, но, как кормящая мать, разбуженная среди ночи, без ошибки скажет, сколько месяцев и дней ее Ванюшке, старуха всегда, не считая, знала — сколько времени прошло с того дня.

Почтальонша принесла письмо, обыкновенное письмо, в сером конверте без марки, со штемпелем полевой почты. Письмо, написанное незнакомой рукой.

«...его похоронили, отступая. Та земля, где наспех вырыли ему могилу, еще ждет своего освобождения».

Вот все, что знают старики. Товарищи Сережи первое время писали часто. Теперь изредка пишет один.

Похоронили... Раз они сами, эти незнакомые, но близкие люди, сержины боевые друзья, рыли ему могилу в мокрой, скользкой осенней земле и сами об этом написали родителям, значит, ждать нечего.

И все же часто, по ночам, особенно, когда Сергей Сергеевич дежурил у себя в мастерской, Анна Петровна вдруг просыпалась и, держась за сердце, садилась в постели: ей чудился басистый голос сына, его твердые, быстрые шаги. Она видела его, как живого. Он шел через двор большими шагами, легко перепрыгивал через лужи, распахивал дверь, вешал в сенях черное кожаное пальто, с которого стекали струйки воды, отряхивал блестящий мокрый шлем, молча шел в столовую, садился в свое любимое кресло между столом и окном, закуривал толстую папиросу от маленькой латунной зажигалки. Старуха даже чувствовала запах его любимых папирос. Большой, суровый, молчаливый, он, изредка, оставшись наедине с матерью, вдруг оживлялся, начинал ее поддразнивать, смеяться. Как она любила его взгляд в эти минуты! Что-то детское вдруг проскальзывало в нем. Матери он казался совсем молоденьким...

Не может быть, чтоб все это кончилось навсегда.

Каждый день, возвращаясь с фабрики, Анна Петровна с неизменным трепетом заглядывала в почтовый ящик. Она сама не сказала бы, чего ждала, но ждала с молчаливым упорством, ждала каждый день, каждый час, то покорно, то возмущаясь и негодуя, но ждала...

— Оборони, спаси, помилуй, — шептали бледные старческие губы.

Было же так с Лизаветой: получила письмо, что муж убит наповал, что похоронен. Товарищи написали, а потом выяснилось, что попал Федор раненый в руки фашистов, издевались над ним...

— Господи, только не это...

А у Тамары! Тоже получила письмо, что убит, а потом неожиданно вернулся сам, без ноги, правда. Но что нога! Лишь бы живой!

С трудом поднялась старуха с колен, еще раз перекрестилась и осторожно, с опаской, как будто кто-нибудь мог ее увидеть за этим занятием, большим затейливым ключом отперла старинный, окованный железом сундучок.

Тяжелая крышка изнутри была оклеена большими и маленькими листами бумаги, сплошь покрытыми неумелыми детскими рисунками. Больше всего было самолетов, паровозов и высоких дымящихся фабричных труб. Это рисовал когда-то маленький Сережка. Сверху в сундуке лежала большая картонная коробка из-под привезенного Сергеем из Москвы торта.

В коробке хранились фотографии.

Усевшись на полу возле сундука, Анна Петровна медленно перебирала старые выцветшие снимки, такие плохие, что сама она не узнала бы на них сына, если бы увидела эти фотографии в другом месте.

Дальше лежали вещи. Оранжевая футболка с продранными, починенными и снова продранными локтями. Мать помнила историю каждой дырки, каждого пятна. Чем дальше в глубину сундука, тем вещи были более старые и меньшего размера. Анна Петровна вынимала вылинявшие рубашонки, прижималась к ним лицом, но не слышно было живого человеческого, родного запаха, только душный, мертвый дух нафталина, сухой ромашки. Под носильными вещами лежала картонная модель самолета с вывихнутым крылом, раскрашенный воздушный змей с нарядным пестрым хвостом, рогатка с пересохшей, потерявшей упругость резинкой.

Эту рогатку, надрвав сыну уши, отнял и спрятал отец, после того, как Сережка выстрелил из нее прямо в

кастрюлю со щами. И без обеда тогда мальчишка насиделся, но прощенья попросить отказался наотрез.

Медленно перебирала старуха кучу таких же ненужных, как эта рогатка, и таких же драгоценных вещей.

VI

В окно постучали.

Кто-то чужой — тихий осторожный стук. Сергей Сергеевич так не станет, он по-хозяйски.

Словно застигнутая за каким-то преступным делом, Анна Петровна суетливо сложила в сундук вещи, опустила тяжелую крышку и, накинув на голову большой пуховый платок, вышла во двор.

Тонкий и нежный, молодой, почти детский голос спросил из-за калитки:

— Соколовы здесь живут?

— Здесь.

Анна Петровна отперла калитку.

Прежде она была большой трусихой, долго расспрашивала — кто, да зачем. А теперь ей как-то все равно стало. Перестала бояться. Могла среди ночи, не спросившись, впустить незнакомых.

Низенькая, не выше Анны Петровны, но гораздо полнее ее, женская фигура протиснулась в узкую калитку, тоненький голос спросил:

— Вы Анна Петровна Соколова? Я к вам.

— Заходите, заходите в комнату, — радушно и обрадованно сказала старуха. Приятно было, что кому-то она понадобилась в неуточное время, кто-то разыскивал ее в темном заснеженном городе.

На кухне девушка старательно счистила веничком снег с валенок, расстегнула маленькими, красными, плохо повиновующимися от холода пальцами военную шинель, с усилием стащила ее с толстой ватной фуфайки, сняла и фуфайку и вдруг оказалась тоненькой, миниатюрной, похожей на тихую застенчивую школьницу.

Анна Петровна молча смотрела на нее. Сердце колотилось от страха и неясной надежды — может быть о Сереженьке что-нибудь... Чтобы подавить волнение, старуха с напряженным оживлением заговорила:

— Вы мне такой полной показались в шинели, подумала я: — какие еще толстушки бывают, а на деле-то... Снимайте-ка и валенки, я вам свои тапочки дам, а то у нас сегодня жарко. Руки у буржуйки погрейте, она еще не остыла, сядьте поближе. Батюшки, сапоги-то какие! Солдатские.

на моего старика в самый раз будут, — говорила она, рассматривая снятые девушкой валенки. — Ну, вы грейтесь, а я пока на стол соберу.

Анна Петровна суетилась, все ждала чего-то от молчаливой гостьи, а спросить боялась, кто она, откуда так поздно и почему не объясняет, зачем пришла.

— Как звать-то вас? — спросила, наконец, старуха.

— Тасей, — очень тоненьким детским голосом ответила девушка. Видно до сих пор она не знала, с чего начать разговор. — Тася, — повторила она, — Наталия Ивановна Петрова. Военврач третьего ранга.

— Врач! — ахнула Анна Петровна. — Господи, какая молоденькая! Ведь вы не больше, как на семнадцать лет выглядываете. Батюшки, и орден у вас военный! — только сейчас сообразила старуха.

Девушка улыбнулась, и Анна Петровна заметила, что зубы у нее мелкие, белые и один немного кривой. И глядя на этот неправильно выросший зуб, старуха внезапно ощутила теплый прилив жалостливой материнской любви к незнакомой девушке.

— Мне уже двадцать три года, — сказала Тася. — Я еще до войны окончила институт.

И, помолчав, сказала, прямо посмотрев на Соколову светлыми правдивыми глазами:

— У меня с вами длинный разговор будет, Анна Петровна.

Опять у матери часто заколотилось сердце, она крепко прижала обе руки к своей высохшей груди.

— Про Сережу? — почти беззвучно спросила она.

— Про него...

— Не томи... Жив?..

— Умер. Убили. Вы же получили письмо, извещение? Давно его нет.

Тася порывисто обняла Анну Петровну и вместе с ней опустилась на широкий, затейливо расшитый диван. Долго они плакали, не произнося ни слова, тесно прижавшись друг к другу, смешивая горячие слезы.

И впервые с тех пор, как пришло страшное известие, почувствовала Анна Петровна отраду от слез. Ничего не сказала еще Тася, но мать уже сердцем чуяла, что это были не те слезы, которые проливала Татьяна Дымова, искренне горевавшая о Сереже, но плакавшая больше от бессильной, разъедающей жалости к старой подруге. Не были это и слезы товарок по цеху и соседок, которые, обнимая и целуя осиротевшую мать, украдкой думали о своих фронтовиках.

— Это были слезы человека, для которого, как и для нее, Сережа был самым дорогим в жизни.

Анна Петровна заговорила первая:

— Расскажи уж, доченька, как было все?

От ее слов Тася словно очнулась и, улыбаясь сквозь слезы, поспешно сказала:

— Я же к вам с радостью, Анна Петровна. С большущей радостью. Расплакалась и не сказала до сих пор. Я же вам внука привезла...

— Господи! Да где же он? Куда ж ты его дела? — вскрикнула Анна Петровна.

С проворством молодой девушки она вскочила на ноги.

— Он в Иваново еще, в нашем госпитале, с подружкой моей остался. Там все его так любят, вы не представляете: и врачи, и сестры, и санитарки, и бойцы раненые, он такой забавный, всех веселит. Сейчас его нельзя было везти, мы на машине ехали, на грузовой, ветер страшный, я сама зачоченела. И вас сначала надо было разыскать, я даже адрес не совсем точный имела, только по-памяти... Все бумаги мы тогда жгли. Я вам сейчас все по-порядку расскажу...

Обессиленная неожиданным радостным волнением, Анна Петровна опять опустилась на диван.

— Сколько же ему времени-то уже? Знал ли хоть Сереженька?

— Знал, все знал. Я успела ему сказать. Десять с половиной месяцев исполнилось, ходит уж немножко за руку. Уже от груди его отняла. Какое наказание было, вы не поверите, такой настойчивый, упрямый мальчишка! Молока у меня было на удивление много, и он до того жадный, невозможно было отучить. Такой... Да я ведь вам карточку привезла.

Вместе они побежали на кухню. Анна Петровна дрожала от нетерпения, пока Тася искривленным ключом пыталась отпереть свой маленький чемоданчик.

— Я все его учу «папа» говорить, а он ни «папу», ни «маму», а «бабу» сказал. Совсем хорошо, ясно-ясно сказал. Видно чувствовал, как бабушка хочет его видеть. Ну, я вам все по-порядку расскажу, столько надо рассказать, — снова пообещала Тася и опять не рассказала, а начала жаловаться. — Такая сумасшедшая спешка была перед отъездом, я совсем неожиданно собралась. Пеленок чистых надо было оставить, неудобно... Хотя Кузик уже на горшочек, вы не представляете до чего смешно...

— Кузик! — опять хватаясь за сердце, вскрикнула Анна Петровна.

— Я его Кузиком зову, — сидя на корточках перед че-

моданом и снизу вверх глядя на старуху голубыми правдивыми глазами, сказала Тася. — Мне Сережа рассказывал, что вы его так звали, когда он маленьким был.

— Рассказывал, помнил, — прошептала Анна Петровна.

Сидя на полу возле чемодана и крепко обнявшись, они опять долго и скорей с облегчением, чем с горечью, плакали. Тасе удалось, наконец, открыть чемодан.

— Вот он! — со счастливой гордостью сказала она.

Анна Петровна жадно, обеими руками вцепилась в большую, наклеенную на плотное паспарту фотографию и бегом понесла ее в столовую к свету. Дрожащими руками насадила очки на нос.

Крепкий упитанный мальчишка сердито смотрел на нее с портрета, нахмутив еле заметные брови. Сходство было удивительное. Все повторилось, каждая черточка.

И горячее, нетерпеливое желание схватить на руки, прижать к сердцу, ощутить тепло и тяжесть крепкого маленького тела, почувствовать родной запах пушистой головки, погладить нежную шелковистую, туго натянутую кожу — широкой волной залило Анну Петровну.

— Когда же привезешь его? Привезешь ведь? — спросила она и вдруг испугалась, — а если нельзя?

Тася как будто поняла ее страх и поспешила успокоить:

— Непременно привезу. Скоро. Мне в отделе эвакуогоспиталей предложили для работы три района на выбор, и я, разумеется, выбрала ваш. Мне Сережа завещал... когда я сказала, что будет ребенок, слово взял — отвези, говорит, внука моим старикам. У твоей, говорит, матери много внучат, а у моей — никого. А ей надо бы хоть немного радости дать, заслужила. Он очень много про свое детство рассказывал и про вас, когда лежал раненый у меня в землянке.

— Раненый?!

— Он поправился тогда, совсем поправился, даже не хромал, — торопливо утешала Тася, как будто теперь это имело значение.

— И про меня рассказывал? — тихо спросила мать.

— Еще как рассказывал!

«А со мной-то никогда про детство не говорил» — подумала вдруг Анна Петровна.

На минуту в ней зашевелилась горечь, ревность матери. что говорил он про это, про самое задушевное, с чужой женщиной, со своей любимой.

Но капля горечи сразу потонула, растворилась в глубоком озере благодарности и счастья.

Она все не спускала глаз с фотографии внука.

— Вылитый, ну, вылитый Сереженька. В точности такой он маленький был. И тоже настойчивый, упрямый.

— А вихры! Посмотрите на вихры, — глядя через ее плечо, радостно говорила Тася. — Такой малыш, волосенки еще мягкие, а уже, как у папы, торчат во все стороны, никак не причешешь, такие своевольные. Он ведь у меня партизан. В партизанском крае родился в землянке, под обстрелом. Чего только с нами не было! Нам отступить надо, карательный отряд идет, а я вздумала рожать. Сколько всего было! Но я очень легко справилась и быстро, не подвела, на санях меня уже вместе с малышом увезли. Так мы все и оперировали в тылу у немцев. В Иванове я только первый месяц, а теперь к вам переберусь. Знаете, я думаю, что сразу узнала бы вас, если бы где-нибудь встретила. Сережа мне так подробно описывал и так похоже, просто удивительно. Очень он вас любил. Маленькая, говорит, и легкая, а волосы седые, как серебро, и кольцами завиваются на затылке. Ты поцелуй за меня эти завитки, сказал. Дайте я посмотрю.

Она взяла Анну Петровну за плечи, повернула и поцеловала полными свежими губами выющиеся на морщинистой шее кольца седых волос.

— А мне-то, мне, — заикаясь и захлебываясь, шептала Анна Петровна. — Никогда он мне этого не говорил. Все с отца перенимал с малых лет. Как Сергей Сергеич волк волком снаружи выглядывает, так и он старался. Стыдился открыто мать приласкать.

— Да, да, — радостно подхватила Тася. — Именно стыдился. На самом деле в нем столько нежности было.

Две женщины, старая и молодая, с увлечением, перебивая одна другую, перечисляли черты характера, привычки и вкусы Сергея. Лица их покраснелись и улыбались, они спешили высказать друг другу все, что знали о Сергее, и даже недостатки его казались им теперь прекрасными и трогательными. Сами того не замечая, они постепенно начали говорить о нем, как о живом, только ненадолго отсутствующем...

— Лучше всего он любит пироги с рисом и сушеными грибами, и чтобы лук пережаренный был. А сладких пирогов выпечем в рот не берет.

Анна Петровна забивала Тасю, она помнила так много мелочей, что Тасе, знавшей Сергея недолго, даже завидно стало.

Властный стук в окно прервал их беседу.

— Старик мой пришел — воскликнула Анна Петровна и, накинув шаль, выбежала во двор.

— Ну, Сергей Сергеич, — закричала она возбужденно.

еще не успев отпереть калитки. — Радость у нас — внук сноха приехала.

— Какой внук? Чья сноха? Чего ты, мать, шумишь? — ворчливо перебил ее старик, входя во двор и запирая калитку. — Ты лучше посмотри на свое затемнение: щель в два пальца шириной в окне светится.

Пока шли в дом, Анна Петровна порывисто и бессвязно рассказывала мужу о неожиданном приезде Таси.

Тася, чувствовавшая себя легко и просто с Анной Петровной, теперь оробела и притихла. Она вспомнила рассказы Сергея о крутом, суровом характере отца.

Но может быть еще больше, чем эти рассказы, встревожило и взволновало ее необыкновенное сходство старика с сыном. Несмотря на лысый череп и пышные сивые усы, ей показалось, что она вновь видит молодое, внимательное и бесстрашное лицо своего мужа. И голос такой же — «как из бочки»...

VII

Глубокая зимняя ночь лежала над заснеженным городком. Темные и тихие приютились среди сугробов маленькие дома. Работницы, отстоявшие дневную смену, крепко спали. Еще тише было в жилищах их сменщиц. На многих дверях висели снаружи тяжелые замки.

Но так же, как сердце спящего человека, постоянно бодрствуя, отсчитывает свои размеренные удары, сердце города — комбинат «Большевик» среди сонного ночного безмолвия жил такой же шумной и напряженной жизнью, как днем.

В одиннадцать часов «заступила» ночная смена. И так же, как днем, стремительно крутились бесчисленные веретена прядильной, так же грохотали, пронизанные водопадами трансмиссий, жаркие и влажные ткацкие цеха, дышали огромные вентиляторы, на лестнице пахло душным запахом шлехтовального отдела, а в высоком зале браковки, возле ярко освещенных столов, вырастали тяжелые кипы товара.

Но отдыхали не все ткачихи дневной смены. В трехкомнатном доме на Больничной улице, в чистой невысокой комнате сидели возле остывшей времянки трое. Подперев маленьким кулаком побледневшую щеку, уставившись в одну точку невидящим взглядом больших глаз, зрачки которых так расширились, что глаза казались не голубыми, а черными, Тася усталым, тихим, надтреснутым голосом рассказывала уже несколько часов. Сергей Сергеевич, угрюмый, замкнутый, как обычно, молча дымил самокруткой. Анна Петровна перемыла посуду, прибрала со стола, оставив на нем только желтый

пузатый самовар, который сначала громко пел, потом начал затихать и, наконец, совсем замолчал. Старуха достала вязанье. Бросила на пол, слегка откатила ногой клубок бурой шерсти и быстро зашевелила спицами.

Рассказать все по-порядку Тасе так и не удалось. То сама она с отрывочных воспоминаний о первых горьких и страшных неделях отступления перескакивала на эпизоды зимовки в партизанском крае, то Анна Петровна перебивала ее вопросами и причитаниями. Прямо спросить о том, что ее мучило, старуха не решалась, а Тася до сих пор ни разу не упомянула имени Сергея.

— Господи, царица небесная, страсти какие! И неужто не боялись вы? — вздыхала мать.

— Как не бояться! — подхватила Тася. — Вначале до того боялась, что просто ужас! Но я вам все-таки скажу, что самое было страшное — ехать туда. Ехала я прямо из Москвы, сразу как сдала государственные экзамены. В вагоне я была одна девушка, все остальные мужчины военные, и все они надо мной подшучивали, что я трусиха. И, правда, раньше я всего боялась — и темноты, и мышей, и пауков... Впрочем, мышей, пожалуй, и теперь боюсь, — откровенно созналась Тася. — Ну, так вот. Высадились мы — стрельба артиллерийская, самолеты, все гудит кругом — и земля, и небо. Я тогда ничего еще не понимала — когда наши стреляют, когда немецкие. И от этого в тысячу раз страшнее. Потом, когда я начала разбираться, гораздо легче стало, даже приятно было: — сразу определишь калибр и откуда, и куда. Ну, так вот. Приезжаю я, напуганная до смерти, до того, что тошнит, и каждую минуту зеваю. Спать ничуть не хочется, а зеваю, зеваю. И вот я в таком состоянии являюсь в медсанбат. Командир операционно-перевязочного взвода — женщина, крупная такая, пожилая, очень полная, гимнастерка на ней того и гляди лопнет, ремень на последнюю дырочку не застегивается, так она на самом конце новую дырочку ножницами проковыряла. Впрочем, это я уж потом узнала. Ну я, хоть и дрожат у меня колени, виду не показываю и рапортую по форме, что, мол, военврач III ранга и все, что полагается. А она, приняв рапорт, сразу:

— Это что за ангельский голосок?

Мне так обидно стало. Ну как будто я виновата, что у меня такой голос! Потом начала придирается — зачем коса, только вшей разводить. А мне жалко было стричь, у меня волосы почти до колен, когда еще такие вырастут, а главное...

Тася вдруг покраснела, оборвала и так и не сказала, —

что главное. При Сергее Сергеече она не решилась признать-
ся, что Сережа очень любил ее косы.

Когда Тася неожиданно замолчала, Анна Петровна вся
насторожилась, спицы перестали двигаться, и чулок застыл у
нее в руках.

Сейчас скажет... Но Тася только вздохнула и продолжала:

— А я вам скажу, что за все время и когда отступали,
я в окружении, и у партизан у меня ни одной вошки в го-
лове не завелось. Вам сейчас может показаться, что это мел-
очь, не стоит об этом говорить, а для нас тогда это был
вопрос огромной важности: развести насекомых, дать разгу-
ляться тифу — было равносильно гибели в нашем положении.
Ну, мы и не допустили. Так вот — насчет страха вы спраши-
ваете, — напомнила Тася, хотя Анне Петровне сейчас было
почти все равно про что слушать — так волновалась она, так
ждала главного.

— Как только я вступила в работу — забыла бояться.
На страх, знаете, тоже время требуется, а тут опомниться не
успевали. Вы даже не представляете, что значит в течение
считанных часов свертываться и развертываться, принимать,
сортировать раненых, оперировать, перевязывать, накладыва-
ть шины и гипс, переливать кровь и в то же время сле-
дить, как бы не оторваться от своей части, связь все время
держат. Правда, конечно, медсанбат — единица довольно
крупная, работников у нас по началу было много, но потери
мы несли тоже большие, надо было каждую минуту быть
готовой заменить любого выбывшего из строя товарища. А
это значило, что надо было очень многому научиться, пото-
му что, нечего греха таить, в институтах нас далеко не ко-
всему приготовили. Когда мы спали, когда ели — просто не-
известно, не помню. И насчет страха тоже не помню. А вот,
если выпадал день-другой затишья, тогда жутко было. Сра-
зу начинаешь думать, загадывать вперед... А общий ход дел
был тогда — вы помните какой! И вот тогда-то Мария
Александровна — это командир нашего взвода, та самая
полная, которой я вначале так испугалась, она нас всех под-
держивала. Как увидит, что мы носы повесили, а команда у
нее была как на подбор — не старше двадцати двух, и все
девчонки от папы, мамы. Так вот, она начинает сразу кри-
кивать, придирается — или инструментарий не в порядке, или
раненые не так положены, мигом нас загоняет и отвлечет.
Удивительный она товарищ была. С виду суровая, крикливая,
резкая, а в душе такой человек! А хирург какой! По четыр-
надцати часам не отходила от операционного стола, и все
операции — лучшая московская клиника не постыдится. По-

том мы попали в окружение, а затем оказались в тылу у немцев. Хирургической работы осталось немного, эвакуировать раненых было некуда, новые почти не поступали, жили мы в лесу, в землянках, и вот тут-то мы с Марией Александровной как будто поменялись ролями. Я стала вроде начальника, а она исполнителя, и все оттого, что хозяйка она оказалась — ну просто никуда негодная. И я прямо скажу — не будь меня, весь наш взвод и с ранеными голодал бы и завшивел бы до предела. А у нас в землянках чистота была, обмундирование все починено, пуговицы все на месте, белье хоть и не очень белое, но чистое. Я стирала и готовила на всех, и запас на зиму сделала. В большой землянке у нас два окна стеклянных было и даже занавесочки я на них сшила. Это было у нас вроде красного уголка.

Анна Петровна опять насторожилась, опять неподвижно повис чулок — она помнила, что еще до прихода Сергея Сергеича Тася упомянула, что Сережа лежал раненый у нее в землянке, но Тася налила в стакан воды из остывшего самовара, выпила залпом и, поймав взгляд старухи, словно испугалась — вот сейчас спросит, быстро и возбужденно заговорила опять о другом:

— Сначала у нас много было грибов, брусники, потом выздоравливающие бойцы притащили какие-то коренья, «может быть съедобные», говорят. Мария Александровна попробовала, сразу выплюнула, да как закричит:

— Сейчас же бросьте! Не смейте есть! Сплошная отрава! А оказалось — ничуть не отравы. Только нельзя было их сырыми есть. Я с ними возилась, возилась и нашла способы из них готовить несколько блюд. Грибов в то время было уже мало, правда, у меня были засушены, но я их очень сэкономила, картошки было совсем чуть-чуть. Так я разваривала эти коренья, прибавляла немного сушеных грибов, и укроп у меня был в букетиках высушен, и получалось очень вкусно, и все сыты были. Чего только мы из этих кореньев не делали — сушили и в муку толкли, лепешки пекли... Потом, когда мы уже выбрались, меня спрашивали — что же вы нам не привезли, если так вкусно?

Тася усмехнулась грустной иронической усмешкой.

— Представьте — они оказались вовсе не такие вкусные. Когда появились у нас хлеб, картошка, пшено, этих кореньев никто в рот брать не хотел. И тем товарищам, которые нас отбили, тоже наше лакомство не понравилось. Но нас-то оно тогда спасло! Когда нас отбили, так все ахнули, в каком замечательном виде были наши раненые, а было их немало. Ни один человек не умер, все, кроме двух, на ногах,

все сытые, чистые, ни цынки, ни одного случая тифа. А в других отбившихся отрядах, особенно, где были одни мужчины, и голодали и завшивели. Только тут я поняла, что значит женщина на войне. Мало быть хорошим хирургом, мало быть бесстрашным человеком, надо быть хорошей хозяйкой. Важно там организовать хоть самый скромный, но уют, тогда люди духом не падают... Вот после этого я и получила...

Она с нежностью погладила маленькой розовой рукой звезду, поблескивающую темнокрасной эмалью на гимнастерке.

Тася замолчала, глядя с задумчивой и грустной улыбкой на затененную синим бумажным абажуром лампу. Старики тоже молчали, сидя на тесно сдвинутых стульях. Наконец Анна Петровна не выдержала и, с опаской покосившись на мужа, задала вопрос, мучивший ее целый вечер:

— А Сереженька? Он тоже с вами был?

Лицо Таси дрогнуло, потемнело, как-то сразу постарело. Не отвечая на вопрос Анны Петровны и не глядя ей в глаза, она сказала:

— Сговорились пожениться мы еще в Москве, до войны... И не успели... Потом на фронте встретились... Его полк был в нашей дивизии...

На минуту опять кольнула Анну Петровну обида — до войны сговорились, а старикам он, прощаясь, ничего не сказал... Но это была только минутная горечь. Жалостливая материнская нежность к Тасе, к этой вдове, похожей на школьницу, сразу пересилила обиду. Трудно было старухе сидеть тихо и, перебирая спицы, слушать, слушать и ждать — вот заговорит, наконец, о Сереже... Хотелось матери хоть попричитать над Тасей, поплакать, приласкать, пожалеть, да боялась старика. Он и так уж захмыкал, начал откашливаться — того и гляди разразится.

Старуха сердцем чуяла, что не от скрытности умалчивала Тася о Сереже, не от ревнивого желания для себя одной сохранить воспоминания о короткой любви, о считанных часах радости и о незаживающей ране потери. Что-то другое таила невестка, и Анна Петровна хотела об этом узнать и боялась...

Все же она не усидела, подбежала к Тасе, прижала к груди ее светлорусую, гладко причесанную голову.

— Доченька ты моя, сама ты еще дитё, сама... Батюшки! Владычица скорбящая, седых-то волос в косе! — только сейчас рассмотрела она. — Деточка ты маленькая, а натерпелась, насмотрелась на все...

Тасю от последних слов свекрови точно всю передернуло. Она вскочила и заговорила вся дрожа, с таким внезапным озлоблением, что Анна Петровна замерла в испуге.

— Да, насмотрелась! На все насмотрелась, все теперь знаю! Сама, своими глазами видела, что люди бывают хуже диких зверей. И не стану я сына так воспитывать — будь добреньким мальчиком, люби, жалей всех. Нет, пусть злым растет! Непримирым! С малых лет буду ему внушать — не забывай, че прощай! Пусть ненавидит! Пусть злопамятным растет.

Перепуганная этой вспышкой, Анна Петровна замахала руками на Тасю.

— Доченька, бог с тобой! Опомнись! Да что же ты такое говоришь про ребенка-то про малого? Да разве можно так невинную душу злобой смущать?

— Можно!

— Нужно! — в один голос крикнули Тася и Сергей Сергеич, до сих пор молча дымивший самокруткой.

Анна Петровна растерянная стояла между ними. Старик-то всю жизнь был оглашенный, а невестка показала ей поначалу такой мягкой, нежной, женственной...

— Я знаю, о чем они думают, на что надеются, — возбужденно, не помня себя, говорила Тася. — Они думают — пусть хоть и лопнет фашизм, пусть сорвется их завоевание, ничего не поделзает, но отвечать будет Гитлер и высшее начальство, а мы, мол, всякие капитаны и оберлейтенанты — вернемся в свой фатерланд и будем жить, пусть не так шикарно, как хотелось бы, но спокойно. Нет! — она стукнула по столу маленьким крепким кулаком. — Не будет им покоя! Мы помним! Пусть их имена в газетах не напечатывают, но мы помним их! И детям своим перескажем. И мой сын будет знать имя капитана Зигфрида Рашке и оберлейтенанта фон-Корфа. И не поздоровится им.

— Господи, помилуй невинного младенца, — крестилась Анна Петровна.

А старик, напротив, как-то помолодел, засиял.

— Правильно, дочка! Памяти у народа хватит. Всех достанем!

— Сергей Сергеич, ты же, старый, ничего про них не знаешь. Что суешься-то? Тасенька, — молила Анна Петровна, — хоть маленького в это дело не путайте. Напиши лучше про них, дочка, заяви куда надо.

— Уже все написано, все заявлено. А следить, чтобы как-нибудь не ускользнула, должны и мы.

— Господи, до чего же люди с этой проклятой войной озлобились. Тасенька, я же знаю, что ты вовсе не такая.

То, что круглое, млаожавое, ясноглазое лицо Таси потемнело и до неузнаваемости исказилось от боли и гнева, то, что в ее русую косу густо вплелась седина, что в ее тонком детском голосе звенела неутолимая злоба, пугало Анну Петровну гораздо больше, чем знакомая ярость старика.

— Ах, мама, вы же не были там, не видели ничего, так не говорите. До войны я вроде вас — добренькой была... А вы здесь живете все равно, что до войны, — сказала Тася, понемногу утихая.

Она посмотрела на старуху, потом на Сергея Сергееча, свертывающего черными узловатыми пальцами новую цыгарку, и внезапно поняла — надо молчать. Слишком стары они, слишком много горя хлебнули в жизни, слишком много потеряли детей...

Она медленно поднялась, сняла с вешалки свою серую ватную фуфайку, надела ее в рукава и, нахохлившись, маленькая, с заострившимся лицом и остановившимся взглядом, села, подобрав ноги на диван. Ее знобило, она чувствовала давящую усталость и одиночество оттого, что надо удержаться, скрыть...

— Ну, давайте ляжем отдохнуть, а то вам рано на работу, а мне ехать. Я обратно тоже машиной.

Улеглись. Погасили свет. Но никто из троих не спал. Все, хотя и по-разному, думали об одном и том же.

Тася, сжавшись в комочек, подтянув колени почти к самому подбородку, дрожала под двумя ватными одеялами, которыми ее заботливо укрыла Анна Петровна.

...разве можно было рассказать старикам о том, как она стояла, почти теряя сознание, в темной, понурой толпе колхозниц, угрюмых, затаившихся свидетельниц казни... Как знала и не верила, слушала и не понимала, что говорил хорошо владевший русским языком оберлейтенант фон-Корф? Разве можно было словами рассказать о взгляде Сергея, о том, как он шел — израненный, но неукротимый. Ее, изменившуюся, до глаз повязанную чужим платком, он, конечно, не узнал в толпе, но слова его — страстные, гордые, через головы палачей, были обращены и к ней, и к будущему сыну, и ко всему несломленному родному народу.

...но спасли ее в ту минуту не слова Сергея, она кинулась бы, встала рядом с ним, разделала бы... нет, не рядом — перед ним, заслонила бы собой его истерзанное тело... Спасли ее двое — ребенок, требовательно зашевелив-

шийся у нее под сердцем, и... капитан Рашке. Если бы лицо у капитана было свирепое, если бы он хоть сколько-нибудь был похож на садиста, дегенерата, она бы... Но нет, лицо было толстое, будничное, самодовольное. Он выполнял здесь свои служебные обязанности так же пунктуально, как если бы обслуживал покупателя за прилавком колбасной у себя в Тильзите. И когда Тася увидела, что он, стоя возле еще незасыпанного, дымящегося на морозе рва, не спеша вынул папиросу из портсигара, украшенного золотой монограммой, и улыбаясь каким-то своим, конечно подлым, идиотским мыслям, со вкусом втянул душистый дым, она поняла, что вынесет все, что выживет, несмотря ни на что. И ребенок выживет...

Пусть кончится война, пусть уцелеет капитан Рашке, пусть вернется в свою тильзитскую лавку...

— Мы еще встретимся! — в тысячный раз мысленно повторила она, сухими глазами всматриваясь в темноту.

VIII

Дробными старушечьими шажками Анна Петровна приминала свежий, выпавший за ночь снег.

— Ты куда от дома? — окликнул ее сзади громкий басовитый голос Татьяны Дымовой.

Анна Петровна остановилась и повернулась всем телом, — туго замотанная толстым платком шея не ворочалась.

— Я к тебе, Таня. И на фабрику вместе пойдем.

— И что это с тобой нынче поделалось? Помолодела ты как-то... К весне что ли?

Щурясь от яркого блеска веселого мартовского солнца, Татьяна внимательно всматривалась в лицо подруги.

Анна Петровна возбужденно и отрывисто, спеша и перебивая сама себя, то принимаясь тут же на улице плакать, то снова расцветая помолодевшей счастливой улыбкой, рассказывала о вчерашнем событии. Она ничуть не заботилась о связности рассказа. Они с Дымовой так давно знали друг друга, что понимали с полуслова, с намека.

— Ну и слава богу, а то я прямо извелась, на тебя глядя. Вообще невозможная была твоя жизнь. Я и то думала — хоть и стары вы, хоть и здорово подкосило Сергеича, а надо бы вам ребеночка принять, а тут свой подросел и с живой матерью. Ну, заходи, заходи, — говорила Дымова, толкая тяжелую голосистую калитку своего дома.

Сразу ее окружили внучата: чего-то они не поделили, из-за чего-то разодрались. Бабка быстро их помирила, од-

ного шлепнула, другому утерла нос собственными пальцами, которые потом отряхнула и вытерла о подол, третьему заправила в штанишки выбившуюся рубашонку, наскоро с помощью Анны Петровны напялила на ребятишек шапки и пальтишки и выводила всю ватагу во двор.

Оставшись наедине, две старухи, — одна крупная, черная, усатая, другая маленькая ясноглазая, светлая, — дружелюбно и понимающе посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись, потом внезапно заплакали и поцеловались.

— Ну вот, — заговорила Татьяна. — Наконец и ты к месту приставлена не одним углом, а всей жизнью. А то болталась, словно пустой рукав. И, усмехнувшись, добавила: — Ну, теперь держись! Нас ты не жалела, как мы выкручиваемся с большими семьями, теперь сама натанцуешься — заботы прибавится.

— Заботы! Нашла чем пугать! — горячо воскликнула Анна Петровна. — От забот я никогда не отрещивалась, никогда не бегала.

Дымова сняла со стола пеструю скатерть, поставила на клеенку большую глиняную миску с водой, принесла пустое ведро, в которое сливали помой для поросенка, и лукошко с крупной, заботливо перемытой картошкой. Подруги уселись на лавке по бокам от лукошка и принялись за дело.

В руках Соколовой быстро и непрерывно, как трансмиссии в цеху, вились ровные спирали тонко срезанной шелухи, падали в ведро. Очищенные белые картофелины с тихим плеском погружались в миску с водой. Ни на минуту не умолкая, старуха рассказывала. Давно они с Дымовой не говорили по-душам. Словно вознаграждая себя за долгое одиночество, на которое в своем смятении и зависти к чужому счастью сама обрекла себя, Анна Петровна спешила выложить все — и недавнюю нестерпимую муку, и пустоту, и внезапно воскресшие надежды. Старуха расхвасталась. Она не уставала расписывать невестку — такая молоденькая да хорошая, докторша, с высшим образованием, дочь инженера, в Москве училась и на фронте на самом без малого два года отбыла, геройствовала, орден военный заслужила и операцию любую сделать не хуже мужчины может, и такого парнишку выкормила, все успела. Молока у нее, даром, что из себя маленькая, как девочка, было столько, что не только свой сыт был, а еще сиротку прикармливала, и тот очень хороший вырос. Не забыла Анна Петровна и косу до колен...

— Но седых-то волос в косе, Господи, твоя воля! Сначала-то я со-слепа и не разглядела, волос у нее светло-

русый, седина не так-то заметна, а глянула поближе — мать честная! А ведь молоденькая, двадцать три года.

— Да уж, от такого переживанья... Но, ничего, отольются им наши слезы, все припомнится...

— Да, отольются...

Анна Петровна вдруг с дрожью вспомнила неожиданную вспышку Таши, ее упорное нежелание говорить о главном...

Но как ни страшны были предположения — что же прячется за умалчиванием — эти мысли не имели прежней власти над старухой. Раздирающее, мучительное желание узнать подробности гибели сына, сомнения — правда ли, что убит он наповал, как писали товарищи, правда ли, что не страдал перед смертью, правда ли, что похоронен руками боевых друзей, — все эти вопросы, гнавшие сон в пустые долгие ночи, оказались вдруг менее важными, чем мелкие, но бесконечно значительные подробности коротенькой жизни маленького внука. Не терпелось узнать, как резались зубки, сколько их у него, когда он начал стоять, когда первый раз сознательно улыбнулся? И еще важнее было будущее — первые самостоятельные шаги, когда он пойдет один, не держась ни за что, посреди комнаты, первые фразы, потом шалости, игры, начало ученья... О чем бы ни думала Анна Петровна, мысли ее неизменно приходили к этому будущему. Жизнь в ее отогревшейся душе все полнее торжествовала над смертью. Но минутами на нее наваливалось раскаяние, она чувствовала себя виноватой перед сыном и мысленно оправдывалась перед ним и перед собой:

— Маленький-то все одно, твоя кровь, твое дитё...

Молчание прервала Дымова.

— Нюр, а Нюр, — задумчиво и не так громко, как обычно, сказала она. — Вот у мальчонки, ты говоришь, мать с высшим образованием и с орденом, отец герой был, тоже орден имел, дед тоже, вроде знаменитый, пусть хоть только у нас на комбинате, но все же изобретатель и прочее, а бабка?.. Неужто бабка-то слабже всех? Неужто, когда парень подрастет, будет отцом, матерью, дедом гордиться, а бабка, скажет, так, ничего в ей такого не было.

Горячая, боевая, честолюбивая Татьяна смолоду любила сравниваться с мужчинами — ничем, мол, не хуже мы вас. Войдя в годы, — с молодежью соревновалась — «мы, старухи, вам еще сто очков вперед дадим». То, что Соколова всегда была слишком тихой, смирной, застенчивой, выводило Дымову из себя. Сколько раз пыталась она раззадорить подругу, пробудить в ней честолюбие, и все безуспешно. Теперь она снова взялась за свое, хотя и без особой надежды

на удачу! Она так и ждала, что Нюра тихонько вздохнет и скажет:

— Работу мою комбинат знает, работой меня никто не попрекнет, а славы мне не надо и вперед других высываться незачем.

Но сегодня, неожиданно для нее самой, слова Дымовой попали в цель, раззадорили Соколову.

— А что ж бабка, — обиженно сказала она. — Бабка тоже против многих выстоять может. Почему ты знаешь, у меня, может, уж давно думается кое про что. Поммастер-то наш новый больно уж молод, он еще не хозяин участку. У меня, может, уж сколько времени дума растет...

— Так давай, давай, — радостно подхватила Дымова. — Сколько же ты будешь свои думы про себя мусолить? Знаю я тебя: начнешь на людей оглядываться — пусть вперед Лопухова, пусть Тарасова. А ты на них не смотри, что сама надумала — делай.

— Я уже и со стариком своим говорила и даже на записке написала, что нужно сделать на тех участках, где поммастера молодые, неопытные.

— Так что же ты про себя-то держишь? — вскинулась Татьяна. — Даже мне сказать не могла, а ведь, чай, не чужие. Чего у тебя на записке понаписано?

— Много чего...

Анна Петровна передохнула, откашлялась, облизала губы. Даже перед закадычной подругой она немного стеснялась. Но все же заговорила:

— Ну вот, к примеру, стою я у станков сорок четыре года, сорок пятый пошел, а поммастер у нас в бригаде мальчишка, только что из ФЗО выпущен. А чуть какой пустяк — я за ним бегу, чистый срам. Бегу и говорю: — стал у меня станок, ищи в чем дело. А уж будто я за сорок-то четыре года не пойму, что в станке заело, почему стоит? Вот то-то и есть! Времени мы не жалеём, сколько его даром на беготню тратим. Сколько у меня станки простоят, пока я за мальчишкой бегаю, пока найду его, а он, между тем, у чужого станка работает, я жду его, потом он придет, крутится у моего, ищет неполадку, а потом за инструментом бежит, хорошо, как только к себе в шкаф, а то в челночную, в батанную уйдет или в механическую мастерскую, и поминай как звали. А станок ждет, время идет, потом он прибежит с инструментом или запасной частью, и, бывает, дела-то всего один разок ключиком повернуть и готово, пошел станок. А еще как у нас ткачихи делают — поставила челнок на-попа и ручки сложила, пусть поммастер

сам доискивается, догадывается, где и что заело. Он и проваландается с пустяком битый час. И вот я как думаю — раз у нас старых поммастеров мало осталось, раз ребят на их место приходится ставить, так пока они, как следует, выучатся, надо, чтобы старые ткачихи им помогали. А то у нас многие шумят — будем мы ребятенков слушаться, нам не указ такие поммастера, а выходит — от этого работе один ущерб. И вот у меня дума какая, и даже не дума, а на деле я уже пробую второй месяц...

Старуха опять передохнула, облизала пересохшие от волнения губы и возбужденно продолжала:

— Стоим мы у станков чуть не с малых лет и знаем машину, и любим машину, и понимаем ее, надо только не бояться слесарного инструмента, не думать, что, мол, не бабье дело ключи, молотки да зубило. Многие мелкие неполадки в станке опытная ткачиха может устранить сама, даже получше и поскорей молодого поммастера. И вот я начала пробовать понемножку, припасла кое-какой инструмент, со стариком своим посоветовалась, он одобряет. И вот смотрю, как мало мне беготни теперь стало, и как мало стоят станки, и вижу... Ты знаешь, какая у меня выработка за тот месяц?

— Сто пятнадцать, чай?

— Сто семнадцать. А в этом месяце сразу на сто сорок шагну. Не меньше будет, а может, и больше. А, главное, это я только пробую, а дальше можно еще шагнуть. С Авдотьей я уже говорила, так, примеривалась, чтоб нам на новое уплотнение попробовать перейти. Она мнетя, да ничего, уговорить ее можно. Маршруты новые продумать надо, ящички с утком по-иному расставить... И все гнездо по-новому.

— А с начальником цеха говорила? Или с мастером?

— Нет еще...

— И еще годика два прособираешься. Струсил, сознавайся? Коленки дрожали? А? — уязвила Татьяна.

— А вот теперь возьму и не побоюсь. Увидишь.

— А верно, что помолодела ты, ей-богу. Откуда прыть взялась? — засмеялась Татьяна и серьезно добавила: — Ну, теперь я все у тебя повыведала, теперь я тебе не дам на попятный итти, сама поговорю с кем надо, если струсишь. А то держать про себя такое, это вроде даже нехорошо получается. Теперь, когда все для фронта... И вот еще что — вызывай меня на соревнование, я тоже на полторы нормы в этом месяце иду. Ой, Нюрка, ведь, если нам с тобой вместе взяться, каких дел мы, старухи, наделаем! Пошумим еще,

рано нас хоронить, мы еще молодым сто очков вперед дадим.

— Ну, что ты, Таня, развевалась? — остановила ее Анна Петровна: — Что руками-то размахиваешь? А вот насчет твоей работы я, знаешь, что думала? Не могла бы я быть браковщицей.

— Это почему же?

— А вот потому. Не могу я смотреть на плохую работу. Не могу, и все тут. Поглядишь иногда, как некоторые браковщицы разделяют, — затошнит, ей-богу. А браковщице на такую, прости господи, пакость, каждый день смотри, да еще с бракоделками разговаривай. Я бы с ними заниматься ни в жизнь не смогла. Терпеть их не могу.

— Верно, что не смогла бы, куда тебе, — задетая презрением к ее специальности, сказала Дымова. — Браковщица характер должна иметь, голос...

Как всегда, в цех Соколова пришла за полчаса до смены и сразу занялась смазкой и обмашкой станков. Со сменщицей Авдотьей Павловой она дружила уже много лет, и никаких недоразумений у них не бывало. Никогда они друг другу не оставляли неполадок — неразработанного брака, отрыва, всегда вместе проверяли состояние челноков, полотно, подробно рассказывали, что сегодня забивает в работе, и поэтому выработка у них была почти всегда ровная, из месяца в месяц обе перевыполняли план. Но за последние две недели Соколова далеко обогнала сменщицу: у Авдотьи было, как и в прошлые месяцы, около ста пятнадцати процентов, Анна же Петровна перешагнула далеко за сто соток. Уже не раз заводила Соколова разговор о своих новых приемах работы, подбивала Павлову перейти на более высокое уплотнение, но Авдотья все сомневалась, а у Соколовой и у самой не было уверенности, что пойдет дело, все боялась она выдвигаться вперед. Но теперь увядшие, казалось бы, силы, как будто обновившись в ней, появились молодой задор, желание развернуться во-всю.

— Приду к тебе, Дуся, после смены сегодня, — крикнула она на ухо Павловой. — Слышишь, никуда не уходи. Разговор будет длинный.

Авдотью, конечно, разобрало любопытство, но Анна Петровна не стала ничего объяснять, только повторила наказ — никуда не уходи, зайду после восьми. Про себя Соколова решила сегодня окончательно договориться со сменщицей, а завтра идти к начальнику цеха.

Оставшись наедине со своими станками, Анна Петровна быстро втянулась в привычный ритм работы и привычно

обратилась к прошлому. Но сколько она его ни вызывала, — прошлое не явилось.

Будущее — необъятно-просторное, светлое, как весенние луга, широко раскинулось перед ней и заслонило все пережитое.

Ничего особенно поэтичного и необыкновенного не было в этом будущем: сотни повседневных забот, маленьких радостей и тревог. Но все это было освещено таким ярким полуденным светом, столько тепла было в этих незатейливых мечтах, что закоченевшая в холодном одиночестве душа старухи стала быстро оттаивать, как земля в дружную горячую весну.

Прилив сил, жадность ко всему: к работе, к людям, к жизни, та жадность, которая бывает в юности, охватила Соколову. Сегодня больше, чем всегда, чувствовала она недостаточную загруженность в цеху, чувствовала, что может сделать гораздо больше.

Она успевала и почки с основы обирать, и подошкиправлять, и пух обдуть и собирать; подолгу возилась на заднем плане станков, и все же, когда доходила уточная нить на широком станке, старуха была уже наготове, сразу меняла початок. Ничто ее сегодня не останавливало. Случился на челноке глубокий зацеп. Прежде с таким делом она всегда обращалась к поммастеру, да и он не всегда брался ликвидировать неполадку, частенько бежал в челночную. Сегодня же Анна Петровна порылась в своей старенькой клеенчатой кошолке, достала оттуда остро наточенную стамеску, оглянулась на соседок (она все еще стеснялась на глазах у других возиться со слесарными или столярными инструментами) и, пользуясь уроками своего старика, довольно ловко и быстро сняла толстый зацеп. В кошолке у нее были припасены не только гаечные ключи, отвертки, маленькое зубило с молотком, но и шило с запасными пошивками.

«Что ж из этого? — думала она. — Как будто уж такая хитрость шорная работа, что бабе на нее и глянуть нельзя? Сколько жонок теперь и валенки сами подшивают, да и другие сапожные работы уделывают, а тут — невидаль — ремень починить».

Работая, Анна Петровна то повторяла шопотом те слова, которые скажет вечером Авдотье, подбирала самые убедительные, неопровержимые доводы, то перескакивала мыслью на предстоящий приезд внука. Она ждала его не как желанного, но еще неизвестного, невиданного, она в точности знала, какой он — такой, каким был Сереженька. А сына годо-

валого она помнила так хорошо, словно не было тридцати двух лет, отделивших ее от того времени.

А сколько забот, чудесных, волнующих забот!

— Надо козочку маленькую весной в деревне купить да вырастить, чтобы молока ему вдоволь было. Только ждать уж больно долго, пока вырастет козочка-то, пожалуй и война кончится. А, может, и на дойную козу наскребем? Можно кое-чего продать. Мы-то со стариком ничего за войну не растрясали. Сколько сейчас коза-то большая стоит может? Ничего-то я не знаю, ото всего отшатнулась. Ох, не забыть бы сегодня от Авдотьи к Тамаре забежать, у ней, должно, ванночка детская сохранилась.

Анна Петровна перебирала в уме содержимое своих сундуков, прикидывала — что из вещей можно будет перешить маленькому, что подарить невестке. Очень ей хотелось сделать Тасе какой-нибудь хороший, дорогой подарок, кажется — ничего бы для нее не пожалела, да ничем не отдарить ее за такую радость.

— Доченька ты моя родненькая, — умиленно шептала старуха. — Хорошая ты моя да ласковая, у других родные дети такие близкие не бывают... Сереженька, тот никогда со мной... Ну, да уж дочка матери всегда ближе сына, понятней. И такая простая, душевная, не гордится нисколько, хоть и москвичка и докторша с высшим образованием...

Опять задумалась старуха, чем бы порадовать неожиданную дочку. Хотелось связать ей нарядную кофточку из яркой пушистой шерсти, хотелось расшить сурового полотна платье богатым старинным узором в семь шелков. Хотелось...

Давным давно перестала Анна Петровна выдумывать разные сложные и красивые рисунки для вышивок и вязки, давно, казалось, забыла, что можно этим заниматься, а тут вдруг все вспомнилось. А маленькому-то сколько можно нашить разных передничков, нагрудничков!

— А уж Тасеньку, вот только кончится война, снимет форму, — наряжу, как куклу. Добра у нас, слава тебе, господи, хватит, да и заработки у обоих не маленькие.

Давно не испытывала Соколова такого удовольствия при мысли, что может заработать много, очень много. Давно не подсчитывала, сколько старик приносит, сколько она... А если еще на высокое уплотнение перейти...

IX

Эту неделю Анна Петровна работала в ночь, но и днем засыпала не больше чем на час-два — столько было дела.

Выбелила русскую печь. Со всех окон сняла занавески,

перестирала, подкрахмалила. Выстирала половики, чехлы с дивана и кресел, покрывало и накидушку с высокой кровати. Тщательно перемыла листья фикусов. Хотя на дворе было еще холодно и сыро и на огороде между грядками лежал рыхлый серый снег, старуха все же выставила зимние рамы, распахнула настежь маленькие окна — нельзя было к такому дню оставить немытые с осени стекла, да и необходимо было, по возможности, выветрить дух самосада, прочно ввевшийся во все вещи.

Старые луковицы гиацинтов, над которыми Соколова долго билась, оживляя их, уже пустили в четырех горшках острые зеленые стрелы листьев, скоро появятся цветы.

Накануне приезда Таси Анна Петровна с вечера, перед тем как идти на фабрику, накрыла стол богато расшитой желтыми и красными петухами скатертью и сверху выложила вышедший четыре дня тому назад номер «Ударника». Там на первой странице был помещен ее портрет и большая статья начальника цеха. Много лестного говорилось в этой статье об «одной из старейших стахановок ткацкой фабрики».

Старухе хотелось, чтоб Тася сама, невзначай, наткнулась на эту газету, прочитала и...

Встречая внука на станции, старуха так волновалась, так суетилась, так долго, безуспешно разыскивала Тасю по вагонам, что уже отчаялась, было, ее увидеть.

— Верно не приехала, обманула! Или не смогла, дела задержали.

Наконец в последнем вагоне она увидела знакомую маленькую фигурку в военной шинели. На зов Анны Петровны Тася обернулась не сразу, так она была поглощена укутыванием спящего малыша.

Ничего не запомнила старуха из первых минут встречи с внуком.

Только дома она немного пришла в себя, развернула на кровати мальчишку, который засопел сильней, но не проснулся, рассмотрела его жадно, подробно и внезапно успокоилась. Все стало на место, как в то время, когда она ощущала себя матерью маленького Сережки. Теперь она была бабушкой второго, нового Кузика, и жизнь сразу вошла в колею.

— И ванночка настоящая, глубокая, — восторгалась Тася. — Как замечательно! А то в корыте его мыть совершенно невозможно стало, он так безобразничает, всю воду выплескивает. Господи, и колясочка, и кроватка! Я о таких вещах и помечтать еще не успела. Ну, какая же вы чудесная, мамочка!

Анна Петровна с благодарной нежностью смотрела на Тасю каждый раз, как та произносила это заветное слово. Сколько лет никто ее так не называл!

За окном мелькнула высокая сутулая фигура Сергея Сергеича. Анна Петровна поспешно обняла невестку и шепнула ей:

— Доченька, ты и старика папой зови. Он не скажет, а ему тоже хочется.

Тася покраснела и кивнула.

Анна Петровна не знала, что, уходя в последнюю боевую операцию, вернуться из которой было слишком мало надежды, Сергей говорил жене:

— Если доберешься когда-нибудь до моих стариков, будь им настоящей дочкой. У них восемь человек детей было, и никого не осталось. Обещаешь? Зови их мамой-папой. Хорошо? А, главное, внука им сбереги.

Тася очень хотела исполнить просьбу Сергея и Анны Петровны, но угрюмый, неразговорчивый старик внушал ей непреодолимый страх. Как только он вошел, она сразу вся сжалась и притихла. Язык у нее не поворачивался назвать его папой.

Но все устроилось очень просто. Тон задал сам Сергей Сергеич, обратившись к Анне Петровне не как обычно:

— Слушай, мать, а, слушай, бабушка.

Да, теперь главным в доме был Сергей Сергеич младший, а все остальные могли быть только тем, кем приходились ему.

— Покажи! — сказал дед.

Тася, замирая от тревожной радости, развернула одеяльце. Старик долго, в сосредоточенном молчании разглядывал внука. Суровое, словно топором вырубленное из темного дуба лицо, не выражало никаких чувств, и только по короткому отрывистому дыханию Анна Петровна угадывала его волнение.

Наконец, ткнув длинным черным пальцем в толстый, мерно вздымающийся животик мальчишки, он удивленно сказал:

— Ишь ты! дышит! — И, не удержав довольной улыбки, прибавил: — голопуз!

Анна Петровна опасливо оглянулась на Тасю: хоть и милая, и простая она, но все же докторша, дочка инженера, москвичка, кто ее знает — не обиделась бы на грубое слово.

Но Тася весело засмеялась и сказала:

— Как у Гоголя — Голопупенко!

Мальчишка вдруг проснулся, закинул вверх толстые ру-

чонки, словно перевязанные ниточками у кисти, и сладко потянулся.

— Потягивается! — не выдержав, ахнул дед. — Тоже живой!

А бабка жадно, поспешно заглядывала в темносерые бойкие глаза.

— В точности такие, — удовлетворенно вздохнула она.

Мальчишка бгладывался с любопытством, безо всякого страха. Он был человек бывалый, всю свою одиннадцатимесячную жизнь провел на людях, знакомства заводил быстро и охотно.

— Пошел, сразу пошел к бабушке, — замирая от счастья, приговаривала старуха.

Она жадно ловила губами крепкие налитые ручонки, прижималась лицом к тонкой атласной коже.

Но мальчишка вдруг увидел мать, уперся кулаками в лицо бабки и закричал:

— Мама, мама, дать!

Острая ревность кольнула Анну Петровну, она как-то сразу почувствовала, что не обойдется у нее со снохой без тайной борьбы за привязанность этого маленького существа.

— Сейчас, сыночка, сейчас, Кузик! Он кушать хочет, — объяснила Тася.

Старуха сразу забыла о минутной ревности и засуетилась.

У нее все было приготовлено: теплая, укутанная периной пшениная каша, морковное пюре, молоко.

Анна Петровна ног под собой не чувствовала, бесшумно, как на крыльях, носилась из кухни в комнату, из комнаты в кухню.

Старик сидел молча, выложив на расшитую скатерть большие черные руки, и не сводил глаз с невестки и мальчика. По временам он похлопывал себя по карману, нащупывал большую круглую жестянку с самосадам, но не доставал ее и опять выкладывал на столе неподвижные руки.

Странно и трогательно выглядела юная, женственная, улыбающаяся мать в военной гимнастерке, с орденом, с узенькими серебряными погонами на хрупких плечах и с упитанным, жадно тянувшимся к еде ребенком на руках.

— Да, не сдобровать им. Всегда знал, а теперь своими глазами увидел, — неожиданно сказал Сергей Сергееч и криплым басом прогудел:

Идет война народная,
Священная война.

Анна Петровна мельком взглянула на старика — всегда

что-нибудь чудное скажет. Но Тася сразу уловила мысль Сергея Сергеевича и, серьезно посмотрев ему в глаза, понимающе кивнула.

Мальчишка насытился и принялся плясать на коленях у матери. Тася смеялась и приговаривала какие-то забавные детские стишки про лису и зайчонка. Бабка на лету поймала их ритм, и стоило Тасе замолчать, продолжала сказку, импровизируя так просто и незаметно для себя, что другим казалось, что она давно наизусть знает эти стихи.

— Как зовут мальчика? Как зовут хорошенького? — улыбалась молодая мать, и бабка без запинки отвечала:

Зовут Кузиком его
Дорогого моего!

Кузик и деда ослепил: пошел к нему на руки и, сердито насупившись, сцепился обеими руками в густые синие усы.

— Ну, вы посмотрите только, какой бандит! — всплеснула руками Тася, а старуха, не задумываясь, подхватила:

Ну, какой же он бандит!
Он все драться норовит,
Никого не пощадит.
Почему ж он так сердит!

— Дайте мне его, он вас совсем взлохматил. Господи, какой нахал! — звонко, как школьница, смеялась Тася.

И Анна Петровна набожным шопотом, сложив руки, повторяла:

Ай, какой же он нахал,
Он на дедушку напал.

Старик вдруг обернулся и, словно немазанная телега закричала, засмеялся. Анна Петровна даже вздрогнула от этих звуков, так странны и непривычны были они.

— Старая-то моя, старая как разошлась! Стихами так и жарит!

— Как стихами? Кто стихами? — перепугалась Анна Петровна.

В своем полном, вдохновенном счастье она сама не замечала, что говорила. Она уже давно перестала стыдиться своей радости, перестала мысленно оправдываться перед собой и Сергеем. Словами она не сумела бы объяснить, но всем своим отогревшимся, обновленным существом чувствовала, что счастье заслужила не только своей жизнью, но и жизнью сына. Она чувствовала, что именно для того, чтобы завоевать наполненное теплым светом будущее для своей осиротевшей матери и для всего родного народа, Сергей, не колеблясь, пошел на страшную смерть.

День прошел в радостной суете.

Мальчишка, расшалившийся к вечеру до того, что мать не знала, что с ним делать, наконец уgomонился и заснул.

Тася ушла в госпиталь и вернулась, когда голубые весенние сумерки уже давно сгустились в темную холодную ночь.

— Ой, бабушка, заблудилась я, совсем в другую сторону ушла, просто ужас, ходила, ходила. Ну, э в госпитале я договорилась. Люди там очень хорошие, идут на встречу. Сегодня, раз вы дома, пойду на дежурство в ночь.

Тася долго объясняла Анне Петровне, как она распределит дежурства, пока устроит маленького в ясли.

— А дедушка ушел? Или спит? — спросила она шепотом.

— Нет, он покурить вышел во двор, — с гордостью сказала Анна Петровна.

Она была очень довольна, что старик оказался таким догадливым. Несколько дней она все собиралась сказать ему, что нехорошо прокуривать теперь квартиру самосадам, вредно ребенку таким воздухом дышать, да все не решалась. Всю жизнь она страдала головными болями от этого едкого дыма, много раз уговаривала старика перейти на хорошие папиросы, приносила ему, когда легко было купить, самые лучшие, самые дорогие, но Сергей Сергеевич упрямо заявлял, что легкие табаки — дрянь, навоз, что его тошнит от них, что такого самосада, как у него, никто не сумеет вырастить.

Номер «Ударника» с портретом Анны Петровны все еще лежал на столе, но Тася опять его не заметила. Старуха тихонько вздохнула, убрала газету и положила на клеенку целый ворох отобранных накануне вещей.

У Таси глаза загорелись.

— Господи, вышивки-то какие! Неужели ваша работа?

— Не только работа, и рисунки мои, — со скромной гордостью сказала бабка.

— Ой, какие замечательные! Я тоже страшно люблю вышивать, но рисунки сама составлять не умею. Подождите, я вам покажу.

Тася принесла свою кожаную полевую сумку и вытащила оттуда кусочек канвы с начатым вышиваньем, моточки разноцветного «мулинэ» и почти законченный фартучек с вышитыми крестом красным и черным котятами.

— Я и на дежурстве, если работы нет, шью ему что-нибудь или вышиваю.

Две женщины с увлечением перебирали старые, но пре-

красно сохранившиеся, пахнувшие нафталином и ромашкой вещи.

— Вот, — говорила бабка, раскладывая на столе широченную и длинную темносинего бархата юбку. — Из этого можно ему осенью замечательное пальтишко сшить. Кроличий мех у меня белый есть, хорошей выделки, ничуть не лезет. А вот это тебе. Халат нарядный сделаем.

— Зачем мне? — вспыхнула Тася, но с удовольствием погладила маленькой розовой рукой пестрый старинный шелк.

— Как зачем? Не век же будешь в военной гимнастерке ходить. Кончится война — потребуются наряды. Чай не старуха. Годы пройдут — заживет... Молоденькая ты да хорошая, замуж выйдешь.

— Как вы только можете! — со слезами в голосе возмущенно крикнула Тася, но, встретившись глазами со старухой, вдруг замолчала, притихла — столько глубокой, умиротворенной мудрости было во взгляде этой матери, потерявшей своих детей.

Анна Петровна помолчала и с тихой, грустной улыбкой сказала:

— Недаром еще старинные люди говаривали: две головешки вместе светлее горят. Много еще всякого впереди будет. Загадывать рано. Только знай наперед, доченька, тебя я ничем корить не буду. Ты своей мукой большого счастья заслужила. Ну, давай собирать на стол, покормим дедушку.

Анна Петровна обтерла клеенку, накрыла стол расшитой красными и желтыми петухами скатертью, поставила чашки, тарелки. Заветный номер газеты старуха опять положила на стол.

— Читала? — спросил Сергей Сергеич у Таси, указывая длинным черным пальцем на портрет.

— Нет. Что это? Бабушка! — ахнула Тася. — Наша бабушка!

Поспешно пробежала глазами заметку и бросилась целовать Анну Петровну шумно, со смехом и взвизгиваньями, совсем как девчонка.

Старик, недовольный тем, что невестка прочла заметку про себя, нацепил на длинный толстый нос старинные, в стальной оправе очки и медленно, торжественно, своим глухим, «как из бочки», басом прочел заметку от начала до конца.

— Вся фамилия у твоего сына знаменитая, — сказал он, бережно складывая газету.

— Да, фамилия, — взволнованно подхватила Тася. — Я все

собираюсь вам сказать. Ведь Кузик на мое имя записан, я же Петрова. Вы понимаете, вписали ведь его недавно, когда мы выбрались. Но я не хочу, ни за что, ни за что не хочу. Он должен быть Соколовым. Сергей Сергееч Соколов. Надо будет это устроить, подать заявление. Он имеет право носить фамилию отца. Я только не знаю, куда обратиться, и все времени не было, не успела.

— Ну, мы на это время найдем, — торжественно сказал дед. — Не беспокойся. Мой внук, я и сделаю.

Когда Тася опять ушла в госпиталь, старики долго стояли над кроваткой разбросавшего ручонки и вкусно посапывающего румяного мальчишки. Длинная, твердая, как железо, рука Сергея Сергееча впервые за... сколько? — тридцать, сорок лет? — крепко обнимала Анну Петровну.

Ребенок, привыкший к любому шуму, к артиллерийской стрельбе и песням партизан, к громким разговорам молодых подруг и товарищей матери и к стонам раненых, спал крепко, но дед и бабка разговаривали возле него шопотом — так было уютнее.

— А знаешь, бабушка, на кого наша Тася похожа? — спросил Сергей Сергееч таким улыбающимся голосом, что Анна Петровна оторвалась от созерцания внука и откинула голову, чтобы заглянуть в лицо старику.

— Знаешь на кого? Была у меня в молодости такая подружка — Нюра Забелина. Чай слыхала? — засмеялся он. — Так вот на нее. Такая же маленькая, светлая, и глаза на мокром месте, и голос такой...

Он остановился, подыскивая определение.

— ...легкий голос, певческий какой-то. Помнишь? А?

Он наклонился и прижался жесткими прокуренными сивыми усами к ее морщинистому лбу.

Анна Петровна спрятала счастливую улыбку на груди у старика. Светло и легко было у нее на душе.

Жизнь началась сначала.

А. БЛАГОВ

ПРЯЖА

В могучих, пылающих горнах
Военная дышит пора.
Мне тонкая пряжа покорна,
Послушно шумят ватера.

Следила я зорко за ними,
Следила и ночью и днем;
Заветное, близкое имя
Хранила я в сердце моем.

Короткие письма читала,
Мечтала — увидимся вновь;
В добротную пряжу вплетала
Мою молодую любовь.

Беда не прошла стороною —
Горою легла на груди,
Вся правда сегодня со мною:
Ни писем, ни друга не жди.

Согнись ли от горькой разлуки,
От этих неласковых дней?..
Работайте, крепкие руки,
Работайте вдвое быстрее!

О нем, о родном, вспоминаю:
Он пал за свободу и честь.
В добротную пряжу вплетаю
Мою справедливую месть.

ПОБЕДА

Под солнцем высоким,
В туманные ночи
На фронте не гаснут
Сражений огни.
Пусть будет сегодня
Наш отдых короче,
Пусть будут труднее
Рабочие дни.

Мы знаем одно,
Что победа — за нами;
Она уже всходит
Над нашей страной:
Живая весна
Запевает ручьями,
Чтоб хлынуть
Широкой, свободной волной.

Мы будем работать
За время такое,
Где черное горе
Дорог не найдет,
За землю такую,
Где счастье людское
Еще небывалой
Красой зацветет.

Вернутся друзья
Из последних походов,
И скажут герои:
«Приветствуем вас:
Вы шли с нами рядом
В боях за свободу,
Вы нашей победы
Ускорили час».

НАКАЗ

Буду служить тебе, Родина-мать,
Лучшая в мире страна:
Добрые ткани умею я ткать —
Я за станками сильна.

Вместе со мною подруга-швея
Дело торопит свое:
Красная Армия — наша семья,
Все отдадим для нее.

Скажем бойцу: одегайся, родной,
Холод тебя не возьмет;
Смело носи ты огонь боевой
Дальше вперед и вперед.

Цель из винтовки, гранатой ударь,
В битве свинца не жалея,
Чтоб не дышала немецкая тварь
Воздухом наших полей.

СТИХИ О ДРУГЕ-ПОЭТЕ

I

У тебя знакомых полон город
И десятки молодых друзей.
Я, конечно, далеко не молод
И не первый в памяти твоей.
Слышу — отпуск у тебя короткий:
Не объехать всех, не обойти,
А к тому же — до моей слободки
Не легли трамвайные пути.
Думал я и так, что за разлуку
Остывают иногда сердца...
Но пришел ты, и пожал мне руку,
И обнял любовно, как отца.
Ты, привыкший к боевым тревогам
И к ночам без отдыха и сна,
Рассказал мне, по каким дорогам
С первых дней вела тебя война.
Грудью в грудь встречался ты с врагами,
Трудные походы перенес...
Строгими, как наши дни, стихами
Растревожил ты меня до слез.

II

Я уверен, что снова увижусь с тобой.
Скоро смертельный закончится бой.

Ты не в отпуск короткий приедешь тогда —
Ты вернешься на долгие дни, на года.
Будет радость подругой надежной тебе,
Будешь петь о свободной, счастливой судьбе;
Как дыханье весны, в города и поля
Полетит легкокрылая песня твоя,

* * *

Еще гудит над полем, над дубравой
Гроза войны; еще тоскует мать.
Но близок день — твоей, отчизна, славой
Всей грудью снова будем мы дышать.

Не остановит никакая сила
Богатырей, которым равных нет...
Благословенна мудрость, что растила
Страну мою для славы и побед.

1944 г.

М. ШОШИН

ПАЛЕШАНИН

Таня Ланцова, заведующая молочно-товарной фермой, собиралась в соседний совхоз за племенными телочками, а Костю Жилева посылали с ней в погонщики.

— Твое дело небольшое, — говорил ему бригадир, — на обратном пути ты дубцом, дубцом... чтобы телята не разбегались, не отставали.

Костя отвернулся и проговорил смущенно:

— Не поеду... Не смею я Ланцовой-то... Уж больно востра.

— Эх ты, заяц, — презрительно вздохнул бригадир, — другой от радости, что поедет с такой девушкой, на шею мне бы бросился, а ты — «не смею». Осина!

Бригадир дернул за козырек кепку на голове парня, нахлобучив ее на глаза, и легонько стукнул ладонью по макушке: — Привыкать пора — не маленький.

На другой день Ланцова с Костей выехали чуть свет. До совхоза было километров пятнадцать.

Утро выдалось тихое, пасмурное. Небо висело низко. Часам к восьми заморосил дождик, дали скрылись, на колеса навивалась грязь, лошадь пошла тише.

Костя, дюжий, широкоплечий рыжий парень, имел склонность к полноте. Грузно развалился в задке телеги, он складно рассказывал о кошке, которую обучил «культурному обращению». Говорить ему вскоре надоело, и он запел длинную, тягучую песню тоненьким приятным голоском.

Ехать с ним было нескучно, но на середине пути он смолк, заклевал носом и блаженно уснул, положив под ухо кепку. Спал он сладко, щека его румянилась, на глаза спадала рыжая прядь волос.

«Вот увалень! — с досадой подумала Таня. — Под дождем дрыхнет — и хоть бы что ему».

Подъезжая к совхозу, она вытащила из-под рядна соломинку и пощекотала Косте за ухом. Он отмахнулся и про-

тяжно всхрипнул. Девушка громко рассмеялась и вновь пощекотала. Он опять отмахнулся. Наконец, разбуженный смехом девушки, приподнялся на локоть.

— Сонуля, — сдерживая смех, укоризненно сказала Таня, — вставай, умывайся, приехали... Счастье свое проспишь... Разве так за девушками ухаживают?

Костя смущенно заморгал глазами и, натянув на коленку кепку, старательно разгладил ее.

Остановились у скотного двора. Таня ушла. Костя остался при лошади.

«Счастье, говорит, свое проспишь и не умеешь ухаживать, — думал он, припоминая слова девушки, — видно, я ей ничего... Она не против меня».

Ланцова очень долго и взыскательно отбирала телок. Костя забеспокоился. Он отыскал ее и сказал:

— Ты поскорее, а то засветло домой не попадем.

— Ты, Костя, не робей, — насмешливо ответила Таня, — не один поедешь, — нечего бояться. Ну, час-другой потеряю, зато лучших отберу. Жди — не беспокойся.

Костя вернулся к телеге и стал ждать. После полудня небо прояснилось, подул холодный ветер, и все показалось Косте неудобным. Голая поздняя осень глядела на него отовсюду. Костя поежился и заскучал.

Когда Костя скучал, ему всегда хотелось спать. Он прилег, укутался рядом и уснул.

Приемка и сдача телят затянулись, потом больше часа длилось оформление документов на них, — из совхоза двинулись домой под вечер.

— Опять спит, — удивилась девушка. — Вставай, — сказала она, — невесту проспишь.

Приподнявшись, он посмотрел на девушку осовелым, ничего не понимающим взглядом.

— Берись за дело! — начальственно прикрикнула Таня. — Погоняй. Что ты на меня смотришь, как овца на новые ворота? Шевелись! Сейчас поедем. На ходу-то, наверное, не заснешь.

— Попался я тебе на зуб, — сумрачно отозвался Костя, — всем теперь раззвонишь, покою мне не будет.

— Не бойся, никому не скажу... Только не спи, гони веселей.

Костя старался: размахивал прутом, свистел, чуть ли не всех телочек наделил кличками и, поторапливая, увещевал каждую поименно.

Но маленькие коротконогие животные шли медленно, не теряя своей сановитой походки.

Студеный, пронзительный ветер рябил гладкую шерсть, телки зябко жались друг к другу, глаза их слезились. Сумерки опускались на поля. С голодным криком низко проплыла над путниками черная стая галок и скрылась вдали.

На глухой проселочной дороге тихо и пустынно. К ночи стало еще холоднее. Таня, ехавшая на подводе, озябла и спустилась с телеги.

— Не торопи их, а то они скоро устанут, — сказала она. — Потихоньку доберемся.

Костя приостановился.

— Морозит, — сказал он, — здорово прихватывает.

Скоро телки стали одна за другой останавливаться и, оглядываясь назад, жалобно мычали. Лошадь ушла далеко вперед. Таня бегом пустилась догонять ее. Прошло с час. Под ногами животных захрустел тонкий ледок. Время шло, лед становился все тверже и толще. Телки теперь уже скользили и падали.

Костя, как малых ребят, поднимал их и ставил на ноги. Они стояли, расставив ноги, и наконец, настойчиво подгоняемые, трогались, но ступали робко, боязливо, как будто впереди их лежала пропасть. Сделав сотню шагов, они ложились и ни за что не хотели подниматься.

Таня осмотрела лежащих телок и ужаснулась. Ступая по замерзшей грязи, по лужам, затянутым молодым льдом, они сбили ноги. До колхоза еще далеко. Нечего и думать, что телки могут добраться. Оставить их на ночь в поле, на морозе, на пронизывающем ветру, — значит застудить их. Таня взглянула вдоль дороги — впереди чернела стена леса. Решила добраться до затишья. С напускной удалой она крикнула Жилиеву:

— Погоняй!.. Ишь они, лентяйки!..

Костя громко закричал, замахал дубцом. Под крик и улюлюканье телки подвигались вперед.

В лесу они обрадовались безветрию и, как бы по уговору, все разом полегли. Костя остервенело стал тормозить их, но Таня остановила его.

— Не трогай. Дальше они не пойдут. Иди за хворостом, зажигай костер.

— А спи... спички? — срывающимся голосом проговорил Костя.

— Разве у тебя нет?

Костя порылся в кармане и вытащил размокший коробок.

— Не сумел сохранить, — с досадой сказала Таня, — тоже парень называется... Ох, Костя, Костя! Ну, что же мы с тобой будем делать?

— Не знаю, — растерянно ответил Костя.

Лес шумел ровно и гулко. В сером небе плыли черные, растрепанные облака, то и дело закрывая луну. На лесной дороге то светлело, то становилось темно. Расторопная Таня раздала телкам сено, все, сколько его было в тележке под рядом.

— Оставь лошади хоть с клочок, — с хозяйственной озабоченностью сказал Костя. Но Таня не послушалась...

— Вот что, — заговорила она, стряхнув с куртки сенную труху, — ты садись сейчас в телегу и поезжай в колхоз, а то мы здесь сейчас сами замерзнем и телок застудим. Они ноги испортили, сами теперь не дойдут, их надо на лошадях везти. Как приедешь, беги прямо к председателю и скажи, чтобы немедленно ни минуты высылали сюда пять подвод.

— А ты? — глухо спросил Костя.

— Я здесь останусь.

Костя молчал. Тяжелая борьба происходила в душе парня. Оставить Таню в лесу — позор, остаться здесь одному — страшно. Луна скрылась и вновь выглянула, осветив лес голубоватым светом. Костя стоял, закинув за спину руки, и задумчиво смотрел в глубь прогала, куда уходила дорога. Как бы хорошо домой, в теплую избу.

Таня зябко нахохлилась и проговорила с раздражением:

— Не теряй времени, поезжай! — Он вздрогнул, недовольно взглянул на нее. Округлое лицо его вытянулось, маленькие карие глаза смотрели сурово, над переносьем собралась складка морщин. Он подошел к Тане и быстро, резко, как бы споря с ней, проговорил:

— Я здесь останусь.

— Но ведь ты боишься... Ты бросишь их, Костя.

— Я брошу? — удивился он и добавил громко, досадливо:

— Это еще неизвестно, кто из нас скорее бросит...

Он подошел к лошади, подтянул подпругу, крепче подвязал чересседельник и, взяв коня под уздцы, подвел его к лежащим телкам. Таня поняла, что он хочет сделать, и запротестовала:

— Ехать с ними придется тихо. Тебе же хуже, долго не вернусь.

— Часом раньше, часом позже, — отозвался Костя, — невелика разница. Слабых надо увезти.

Он искусно связал тонкими лозинками ноги трем телочкам и взвалил их на телегу.

В последнюю минуту девушка испытала острый прилив

жалости к этому тихому, безобидчивому парню. Все-таки страшно оставаться одному в глухом лесу долгой осенней ночью. Чтобы подбодрить его, она ласково улыбнулась, но он, скрывая свое волнение, отвернулся и не заметил этой улыбки.

— Я скоро, — ободряюще крикнула девушка.

Колеса звонко застучали по мерзлой дороге. Оставшись один, Костя перебрал в уме все, что говорила ему сегодня девушка. Почему это она так разговаривала с ним? Снисходительно насмешливый тон вызвал в нем обиду.

Очевидно молодежь заметила его боязливость, несмотря на то, что он очень тщательно скрывал ее. И тут сразу припомнилось все, что сделало его боязливым и робким. Случилось это с ним в раннем детстве. По вечерам его мать, вдова, уложив сына, имела обыкновение сходить на полчаса к соседке посудачить. Фитиль лампы она привертывала так, что огонек еле-еле мерцал. Избу не запирали. Жила она так бедно, что ворам нечего было взять у нее, да и замка не водилось.

Однажды зимой, на святках, маленький Костя, спавший на печке, проснулся от страшного крика в избе. Он глянул вниз и в крошечном отсвете огонька увидел косматое чудовище, которое, громко крича, видимо душило кого-то; впереди его маленький человечек пищал трескучим, прерывающимся голосом. Мальчик задрожал всем своим худеньким тельцем, в глазенках застыл ужас. Вот сейчас и его это косматое чудовище схватит и задушит. Другой такой же космач вышел из темноты, тронул первого за плечо и что-то сказал ему. Ребенку показалось, что космач задушил маленького человечка: он перестал пищать. И вдруг в тишине один из них рявкнул:

— Есть ли тут живые-то? Хозяева?

Дальше мальчик ничего не слышал, потеряв сознание. Он очнулся на руках у матери. Она брызгала на него водой и причитала:

— Болезный мой, очнись, приди в себя... Это священство приходило — поп, дьякон и дьячок... Они, выпивши, «славят» да и опоздали маленько: мотаются по избам, когда уже все спать полегли. Робкий ты у меня какой-то. Что ты их испугался?

С тех пор он не мог выносить одиночества в темноте. Вот и сейчас он расхрабрился перед девушкой, а когда она уехала, быстро остыл, чувствуя необъяснимый прилив страха. Стараясь отделаться от этого гнетущего чувства, он

стал думать о Тане, своей красивой и смелой спутнице. Сейчас она на полпути горским лугом, наверное, едет...

Неожиданно приятные думы вылетели из головы. Костя замер... В лесу где-то недалеко грубым и низким голосом завыл старый волк. Волчица издали ответила ему более высоким и тонким голосом. Волчата отозвались хором, пискливо лая и взвизгивая. Старик опять завыл, призывая выводок. Костя услышал в эту минуту свое сердце, оно сильными и частыми ударами забило в боку. Ему непреодолимо захотелось убежать отсюда, но он не двигался, старался найти в себе твердость духа. Холодящее оцепенение разлилось по телу, руки повисли...

Луна то выплывала из-за туч, то скрывалась. Это беспокоило. Стоять на одном месте страшно, хотелось двигаться, овладеть собой. Он поспешно прошелся вдоль поляны, на обочине дороги нашел обломок оглобли и обрадованно оживился. Вой прекратился.

Лунный свет падал на верхушки деревьев, стекая по стволам на землю. Поляна осветилась. Костя взгляделся в ту сторону, откуда недавно доносился волчий вой.

На опушке меж кустами боярышника мелькнула тень. «Волк, — решил Костя, — подбирается... Ждет темноты». Телята обеспокоенно поднялись. Ветер, продираясь сквозь деревья, тянул через поляну в сторону волка. Зверь чуял присутствие человека и остерегался.

Темнота выступила из глубины леса и затопила дорогу.

«Темно, теперь держись, — сейчас нападет», — подумал Костя и закричал непослушным голосом, надеясь криком своим отогнать волков. Голос дробным эхом отозвался в лесу. Телята успокоились и опять все полегли. Стало быть, волк ушел, испугавшись крика. Костя приободрился. Вот он один ночью в глухом лесу и ничего... жив живехонек, ходит, покрикивает, волков пугает и, будь что будет, скротает здесь ночь, не оставит одних этих беззащитных животных. Таня расскажет всем, как он стойко охранял колхозное добро, и тогда толки-пересуды о его трусости исчезнут...

Размечтавшись, он не заметил, как волк подобрался к стаду. Телята вскочили и бросились в разные стороны. Костя вздрогнул в безотчетном страхе, боясь оглянуться, бросился наутек. Выбежав на дорогу, он неожиданно встал, к нему вернулась способность мыслить, и он подумал: «Вот и убежал... вот и оставил их одних... Танька на глаза теперь к себе не пустит».

Телочка, терзаемая волком, замычала так жалобно, что

Костя задрожал всем телом, повернул обратно. Луна выглянула на минуту из-за облаков, осветила лесную поляну, и Костя увидел телку распластавшуюся на земле и волка на ее спине. Стремительно подбежав, он взмахнул обломком оглобли... Удар пришелся хищнику по загривку.

Голодный волк уткнулся мордой в опавшие листья. Сбоку, в кустах, мелькнули волчьи глаза и в тот же миг исчезли. Костя смекнул, что рядом ходит волчица, она может перерезать разбежавшихся по опушке телок, и стал ходить вокруг них, всматриваясь в кусты.

Вновь показалась луна. Дорога и опушка леса посветлели, он увидел, как через дорогу к кустам боярышника полз старый волк. Он волоком тащил задние отбитые ноги. Жилиев быстро догнал его. Волк, яростно оскалив пасть, смотрел на человека злобыными глазами. Костя взмахнул колом. Опомившись, Костя вскинул голову и огляделся.

Раненая телка лежала на том месте, где ее свалил волк. Костя торопливо снял пиджак и прикрыл им теленка.

...Пока Таня доехала, пока подняла людей, прошло немало времени, и когда колхозники прибыли в лес, — на лесную поляну заглянул рассвет. Тяжело переставляя озябшие ноги и сутулясь, Костя ходил по опушке.

Спрыгнув с телеги, Таня первым делом подошла к телке, укрытой пиджаком, и укоризненно вздохнула.

Жилиев виновато заморгал глазами, но потом, вспомнив о волке, поспешно притащил его из кустов и положил рядом с мертвой телкой.

— Угломил одного, — басисто сказал кто-то из колхозников. — Костя смело посмотрел в глаза окружающим и встретил удивленный взгляд девушки.

Таня часто рассказывала в деревне, как Жилиев, охраняя телят, убил волка. Ей почему-то это доставляло удовольствие.

Выслушав ее, одни молчали, другие замечали насмешливо:

— Волк-то, наверное, сам издох.

К тому же случай в лесу скоро забылся и Костю Жилиева попрежнему считали робким парнем. Но Таня временами стала ощущать, что Костя занимает в ее жизни какое-то место, и она не может относиться к нему совсем безразлично.

На вечерах в колхозном клубе она неожиданно для самой себя начинала чувствовать себя раздосадованной, становилась резкой в обращении с парнем.

«Почему ко мне подошел Левка, а не Костя, — мелькало у нее в мыслях, — всегда выходит не так, как я хочу».

Она укоризненно смотрела в ту сторону, где находился в это время Костя, иногда ловила его влюбленный и в то же время растерянный взгляд, и глаза ее говорили ему:

«Ну, почему ты не подойдешь ко мне?! Не смеешь ребят, которые увиваются около меня... Вот дурной. Не могу же я сама к тебе подойти, люди засмеются — девка за парнем ухаживает».

Встречаясь с ней один на один, он краснел до ушей, смущался и не сразу находил слова для разговора. Тогда Таня начинала разговор сама. Овладев собой, Костя был бесконечно рад встрече и говорил-говорил с девушкой обо всем, а потом несколько дней чувствовал себя счастливым человеком.

Глядя на него, колхозники переговаривались меж собой:

— На девятом небе от радости.

— С чего это он?

— Танюшка его приласкала.

— То-то он земли под собой не чует — того гляди разобьется.

На военную службу его не брали. «Оставляли на поправку», — как он говорил.

В деревне шутили по этому поводу:

— Девкам на утешенье оставили.

— Ох, уж и утешенье, — жеманно кривили губы девушки, — пусть уж Татьяна с ним утешается.

Тане было больно слышать эти слова, и она стала негодовать на то, что он неспособный и его не берут в армию.

На втором году войны его переосвидетельствовали и признали годным.

Перед отъездом он сам осмелился подойти к Тане и проговорил:

— Поправился, завтра на фронт уезжаю.

Мать проводила его за околицу, поплакала, потом сухо вытерла глаза кончиком головного платка и сказала сыну:

— Ты там, Костяньтин, не поддавайся немцу-то. Будь посмелее.

Костя потоптался на месте, вскинул мешок с сухарями и тихо проговорил:

— Ты здоровье-то береги, а то отвоююсь — и домой вернуться не к кому.

Хотелось увидеть напоследок Таню, но она не вышла с ним попрощаться. Костя не обижался на нее, зная, что ничем не заслужил ее внимания.

Он пошел к поезду один.

На полустанке, перед самым отходом поезда, неожиданно появилась Таня.

— Ты как сюда попала? — удивился Костя.

Девушка загадочно улыбнулась и ничего не ответила.

— От колхоза в командировку едешь? — допытывался Костя, мысленно представляя себе, как они вместе поедут до города.

— Да не все ли тебе равно. — Таня сняла с его плеч сумку, развязала ее, сунула туда какой-то узелок, аккуратно завязала сумку. Костя был так ошеломлен этим, что не мог произнести ни одного слова. Он стоял перед ней красный от смущенья, переминаясь с ноги на ногу, и молчал.

В помещении полустанка становилось просторнее, пассажиры выходили.

Таня взволнованно посмотрела на него своим светлым лучистым взглядом и сказала шопотом:

— Пора.

Это маленькое слово прозвучало так задушевно и трогательно, что сердце его замерло от восторга. Таня ловким и сильным движением помогла парню повесить сумку на плечи и первая пошла к выходу.

Подходил поезд. Видя, как Таня поспешно направляется к поезду, Костя окончательно решил, что она едет в командировку. Он еще раз спросил ее об этом.

— Да нет, — отмахнулась Таня.

— Как же ты здесь очутилась, никак я не пойму.

— Понимать надо, не маленький.

Подошел поезд. Костя заторопился.

— Ну, прощай, может больше не увидимся никогда.

Таня, поправляя лямку на его плече, придвинулась к нему близко-близко и проговорила тихо, ласково:

— Костя, ты не теряйся там... на войне-то! Ты ведь можешь быть твердым. Я знаю.

Костя понял, что она выразилась мягко, осторожно. На самом же деле она хотела сказать: «Не будь там трусом». Он хотел сказать ей что-то значительное, но поезд после трехминутной остановки тронулся, и Костя поспешно вскочил на площадку. Обернулся назад, увидел Таню и помахал ей рукой. Он был вне себя от радости, улыбался во все лицо. Он не умел скрывать свои чувства.

Тане вспомнились слова колхозников — «на седьмом небе от радости», и она усмехнулась. Вернувшись в деревню, она зашла к матери Кости. Ей хотелось узнать, как теперь будет жить она, одинокая старуха.

Таня спросила: есть ли хлеб, картошка, дрова, керосин?

— Все у меня есть, — сказала мать, — всем я довольна. Вот Костю жалко. За всю жизнь он меня ни одним словом не обидел. Смеялись все над ним, а на сам-то деле он парень хороший. Несмел — это верно, так это уж от природы такой. Ну, вот войну-то пройдет, жив останется, так посмелее будет. А так я всем довольна... Только недовольна я тем, что одна осталась. Костя-то у меня уважающий был: посидит со мной, поговорит, из книжечки почитает. Мне и весело. А теперь одна. Ты девушка хорошая, выберется времечко и забеги ко мне, посиди хоть полчаса, — я буду рада-радешенька.

Тане было приятно это приглашение, и она обещала забегать.

После четырехмесячного обучения в тылу Костя Жилиев попал на фронт. Часть, с которой он прибыл на фронт, была отправлена на поддержку войсковой группировки, развивающей наступление.

Поспешность, с которой полк шел к месту боя, волновала Костю до глубины души. Он чувствовал себя воином и с воодушевлением спешил навстречу опасности. Полк шел вперед по отбитым у врага местам, приближался к передней линии.

Немцы заняли запасную линию обороны и отсиживались. Наши подводили силы для нового броска. На позиции наступило временное затишье.

Жилиев чувствовал какое-то беспокойство. Он прислушался к себе, к голосу своего сердца и нашел, что это ощущение похоже на то чувство сожаления и досады, которое он испытывал дома, когда приходилось сидеть без дела. У самого трудодней не прибывает, и колхозу от тебя пользы нет. Он был работающим парнем.

Он сидел в окопе, ел, пил, спал и томился. Рядом находились немцы, он кипел злобой и не трогал их, и это было тягостно.

Костя видел жизнь разведчиков, снайперов и завидовал им. На его взгляд они жили в полное свое удовольствие. Уходили бить немцев и возвращались гордые, уверенные в себе. В конце концов Костя пошел к командиру и попросился «в снайперы или в разведчики».

— А тебе все равно, что в снайперы, что в разведчики? — спросил командир.

— Все равно. Только бы шевелиться.

— Хорошо... Учту твое желание.

Вечером Жилиева назначили в разведку. Нужно было выявить огневые точки противника. Весенняя ночь коротка. Он подполз к проволочным заграждениям немцев. Немцы заметили его и открыли яростную стрельбу из автоматов.

Плотно прижимаясь к земле, он быстро пополз обратно и свалился в какую-то яму. Вскоре немцы пустили еще несколько ракет, и он увидел, что находится в огромной воронке от снаряда. Здесь было совсем безопасно. Пули визжали над головой. Жилиев выглядывал из воронки, следил, откуда немцы стреляют. Но они ограничились огнем автоматов, не желая выдавать огневую систему своего укрепленного узла.

«Эх, теперь бы мне веревочку, — подумал Костя, — я бы сейчас же заставил их показать весь огонь».

Время шло.

«Убраться надо отсюда по добру по здорову, пока совсем не рассвело, — решил Костя, — что тут зря сидеть. Все равно ничего не высидишь... Веревку надо».

Он осторожно полез обратно. Между нашими и немецкими позициями пролегла неширокая долина. Срединой долины проходило высохшее русло какого-то безымянного ручья. Жилиев дополз до него и, пригнувшись, быстро пошел, скрываясь за выступами берега и кустами тальника. Дно русла было покрыто высохшим илом с мелкой галькой. Во многих местах пробивалась густая трава. На своем пути он не встретил ни одного хотя бы маленького омуточка с водой. По всей видимости вода здесь бывала только во время водополья.

Вывернувшись из-за одного уступа, он вздрогнул и остановился. Впереди под корявой ракитой что-то зашевелилось и пропищало. Он прилег к берегу и стал наблюдать. Пристально вглядываясь, он заметил беленькую детскую головенку и стремглав бросился туда.

На дне ручья, на гальке, лежала мертвая женщина. К ней тесно прижимались с той и другой стороны дети: девочка лет шести и мальчик поменьше ее, он беспрестанно просил пить.

Что же тут произошло? Девочка кое-что могла рассказать, и Жилиев представил себе такую картину.

Женщина, пробираясь в расположение советских войск, укрылась на дне высохшего ручья от вражеских самолетов и пуль. Очевидно она застряла здесь надолго, дети запросили пить. Она оставила их у ракиты и пошла искать воды.

Дети ждали-ждали мать и не могли дождаться. Они пошли ее искать. Мать ушла недалеко. Пуля немца сразила ее наповал.

Мать лежала вниз лицом недвижимо. Девочка ощупала ее лицо ручонками. И руки и лицо матери были холодные.

— Пи-ить, — запросили дети, но мать не отвечала и не шевелилась.

Дети жалобно тянули, еле раскрывая пересохшие рты:

— Пи-ить... пи-ить...

— Вот что, ребята, — сказал им Жилиев, — пусть мама здесь полежит, а вы идите со мной, я вас напою.

— А вы, дядя, нам сюда принесите, а мы подождем маму...

— Нести — это далеко. Вы, ведь, кушать, наверное, хотите?

— Хотим кушать, — призналась девочка.

— Вот! Идемте я вас в наш дом отведу. Пить там, что хочешь пей, — соблазнял Костя, — ешь досыта. Борщу дадут. Вы ведь южные, борщ, поди, любите?

Костя повел их ложем русла.

Там, где нужно было поворачиваться к своим позициям, он положил ребят на землю и сам лег рядом с ними.

— Здесь надо ползти, братцы, — объяснил он, — смотрите, как я ползаю! И вы делайте так же...

Ребята на четвереньках поползли рядом с ним и все старались прижаться к нему, как прижимались к матери. Немцы заметили и открыли стрельбу. Пули пролетали где-то около...

Костя остановился, решил немного пропустить детей вперед, чтобы они ползли рядом друг с другом. Сам он хотел занять место сбоку, чтобы прикрыть их собой от пуль. Но как только он остановился, остановились и дети жалобно посмотрели на него.

Он понял, что так, видно, ничего не выйдет, двинулся вперед, перекатился через маленького и прикрыл своим телом детей.

Достигнув хода сообщений со своими позициями, он подхватил детей себе подмышки и вновь побежал пригибаясь. Выйдя из зоны обстрела, он поставил детей на землю и перервел дух.

— Дядя, а садик-то наш вон там, — сказала девочка, показывая ручонкой в сторону расположения противника. Было ясно, что где-то там находилась их деревня, и они посещали детский сад.

— А мы тут по дороге к одному хорошему дяде зайдем,

— поьем у него водички, а потом и в садик... Прямым сообщением. — Здесь уж Костя взял их за ручонки и траншеей повел детей в свою рсту.

Бойцы обрадовались малышам, усадили их к себе на колени.

— Напоить их надо, от жажды они прямо умираюу, — сказал Костя. Кто-то побежал за водой.

— Позвольте! — сказал вежливый расторопный москвич, — я им чайку с сахарком внакладочку оборудую, а то у них от сырой-то воды животышки, коим грехом, не разболелись бы!..

— Тебе, Жилиев, везет, — сказал лейтенант. — Тебя надо чаще посылать, пустой ты никогда не возвращаешься: то пленных захватил, то ребят привел...

— Ну, а как с огневыми точками?

— Веревку мне надо, товарищ лейтенант, тогда все сразу станет ясно...

— Зачем же это веревка-то тебе нужна? Фрицев что ли хочешь вешать?

Жилиев объяснил, зачем нужна ему веревка. Лейтенанту понравилась его мысль. Ночью Жилиев отправился в разведку. Медленно, с предельной осторожностью он пробирался к вражеским позициям. Немцы, видно, чуяли что-то... Они то и дело пускали осветительные ракеты и бестолково и яростно стреляли из автоматов. При свете ракет Жилиев видел родную землю, изрытую, исковерканную снарядами, минами, бомбами, и ему казалось, что она морщится от этого отвратительного света вражеских ракет.

Нащупав ямку, складку, он прикинул к земле, сливался с ней и лежал неподвижно, затаив дыхание. Ему казалось, что он совсем невидим в эти минуты, когда не слышно не только шороха, но и дыхания. Как только хотя бы на минуту падала темнота, он продолжал ползти. Наконец-то он добрался до проволоки. И опять, замерев, лежал тут, — немцы развесили в вышине ракеты и палили беспечно.

Он не умел моментально соображать, но не торопясь мог все досконально продумать, предусмотреть... Днем еще к концу веревки он приделал крючок, чтобы ночью долго и опасно не путаться с узлом. Он быстро и уверенно приподнялся на локте, нацепил крючок на проволоку и стал отползать назад. Малейшая оплошность могла испортить все дело, и обратный путь опять потребовал бы много осторожности и времени.

Он отполз в воронку, которую облюбовал прошлой ночью, и залег в ней. Здесь было безопасно, и он легко

вздохнул. Он оживился, ощутил нетерпение... Хотелось попробовать, и он дернул за веревку. Минуту, другую немцы молчали, недоумевая и разгадывая... Потом в небо взвились десятки ракет, заухали автоматы...

«Теперь я вас потешу, устрою тара-рам», — мелькнуло в мыслях.

Немцы долго не успокаивались. Костя ждал. Потом погасли ракеты, надвинулась темнота...

Тогда Костя решил, что наступил подходящий момент, и стал дергать за веревку часто и сильно. Немцы переполошились и открыли огонь из пулеметов, автоматов... А Костя все тянул за веревку и отпускаял...

Потом, заметив белую полоску на востоке, он сказал себе: «Все огневые точки я показал, пора к себе, до свету только бы добраться».

Впереди лежало поле, выжженное немецкими минами. Оно спускалось в балочку с высохшим ручьем. По отлогому скату балки — проволочные заграждения врага, его землянки, блиндажи. Вдалеке и немного в сторону — сожженная деревня и церковь со сбитой колокольней.

Этот пейзаж войны Костя видел в течение нескольких недель, и он надоел ему до смертельной тоски.

Сосед его по землянке — сухощавый рыжий москвич, по характеру своему очень живой и подвижный человек, от скуки мурлыкал какую-то незнакомую песенку. Костя прислушался и разобрал такие слова:

Зима прошла,
Прошли метели.
Вода сошла
В свои отели.

— Где ты заучил такую песню? — спросил его Жилиев.

— Да я ее сам сложил, — ответил москвич. — Что, нравится?

— Ничего... к погоде подходящая. На пойму только вот никак — куда вода ушла...

— В отели ушла... Тебе это слово непонятно, а мне близко, как деревенскому слово изба. Отель — это большая гостиница. Я официантом служил. Вот жизнь была — умирать не надо... Ну, правда, трудная работа. Весь день на ногах. В один номер портвейн несешь, в другой — мускат, в третий — ликеры... Женщинам — какао, кофе, чай с лимоном, торты, пирожные, хворост...

— А хворост для чего это им? — удивился Костя.

— Сразу видать, что в городе ты не живал. В деревне

хворостом печи топят, а у нас в отеле это дамская еда. Сдобная, сухая, хрустит и на языке тает... После войны, как все наладится, заезжай ко мне: выпьем, всего попробуем.

Другой сосед — снайпер Мелешко — мало говорил, никогда не улыбался. Он давно получил известие, что на Украине, на родине Мелешко, немцы сожгли его родных.

Он брал свою снайперскую винтовку и пропадал одни-два суток.

Он мстил упорно, терпеливо, испытывая все нарастающую жажду мести.

На Первое Мая командование преподнесло ему хороший подарок. В этом подарке оказался черный лаковый портсигар — коробка с росписью на крышке. Махорку в портсигаре Мелешко не держал. Бережно хранил он в нем какую-то маленькую фотографию. В часы досуга он клал коробочку на ладонь и подолгу рассматривал роспись.

Великий киевский князь Олег с дружиной стоял на опушке дремучего бора. Из леса выходил худенький старичок в белом халате, подпоясанном золотой веревочкой. Листва на деревьях, цветы на земле — все отливало золотом. На крошечном пространстве художник изобразил десятки людей, и Мелешко всматривался в каждое лицо.

— Какая чудесия, — изредка шептал он.

Зоркие глаза были у снайпера, но и они отказывались проникнуть во все тонкости этой чудесной росписи. Тогда Мелешко приспособился рассматривать ее в оптический прицел. Тоненькая черточка в уголке портсигара оказалась подписью, и он по складам прочитал: «село Палех».

То, что было жухлой золотистой травкой под копытами белого могучего княжеского коня, оказалось словами: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» — было написано тут. Это его крайне поразило, он не мог успокоиться и на этот раз заговорил:

— Ребята, вот это маскировка! — воскликнул снайпер. — Сотни раз смотрел и не мог разобрать надписи и только вот в прицел разглядел.

К нему собрались все обитатели землянки и принялись рассматривать роспись.

— И где помещается это село, где умеют рисовать, как тульский левша ковать, — задумчиво проговорил Мелешко и печально заключил: — Немцы, поди, это село заняли и сожгли.

— Да, нет же, не заняли и не сожгли, — заявил Костя Жилиев. — Я из той местности. Палех от нашей деревни недалеко. Художники наши на весь мир, нигде больше таких мастеров нет. Я их хорошо знаю, они на нашу речку Люлех часто приходили рыбу ловить.

— А что они — особо ученые? — спросил Мелешко.

— Народ простой, как и мы с тобой, — сказал Жилиев, — ну, правда, люди они умные, много читают, крепко думают...

Мелешко думал и говорил Косте:

— Вот какое село у нас есть!.. Посмотреть на него любопытно. Жив буду, — после войны, Жилиев, к тебе в гости приеду, и ты меня своди в это село. Я поздороваюсь с мастерами и спасибо скажу им. «Ваша малая картинка, — скажу, — отогревала мне сердце, доставляла мне радость». А когда они на вашу речку придут, с ними песню спою. Протяжную русскую песню. Они какие, Жилиев, песни любят?

— Поют все, хватяющее за сердце...

— Вот, стало быть, такую песню я с ними спою и заплачу.

— Это уж будет непорядок... Неловко как-то будет.

— А они поймут меня. «Горя, — скажу я им, — немец мне чашу поднес бездонную... Семейно, — скажу, — деток, жену свою вспомнил».

Помолчав, Мелешко спросил:

— А лицо в крупном виде они могут нарисовать?

— Конечно могут, — тихо ответил Костя, погруженный в воспоминания о родной деревне, раскинувшейся на речке Люлех, о милой девушке Тане...

Наступил вечер. Мелешко поужинал и собрался в ночь охотиться на немцев. Он вновь стал безмолвным, насупленным, сдержанным в движениях. Каждое движение его стало неторопливым, осторожным, рассчитанным.

Рассветало. Из-за дальнего леса выглянул краешек солнца, и по земле расплылся мутнокрасный свет. Земля, развороченная взрывами, проволочные заграждения, сожженная деревня в стороне и церковь без колокольни — весь этот скорбный и страшный пейзаж войны постепенно выступал из утреннего тумана.

Над полем стояла тревожная и напряженная тишина.

И вдруг в расположении немецких позиций разорвался снаряд. Костя видел этот взрыв и определил, что на том месте был немецкий блиндаж. Из него, когда Костя дергал

колючую проволоку, осатанело стрелял крупнокалиберный пулемет.

За грохотом взрыва последовало недолгое затишье. За спиной наших бойцов раздался дружный грохот, и над блиндажами немцев взорвались десятки снарядов.

Костя в гуле разрывов еле различил команду:

— Вперед! В атаку-у!..

Бойцы выскочили из окопов, бежали, пригибаясь... По команде залегли и поползли...

Над немецкими окопами стояла высокая мохнатая стена взрывов, беспрестанно рассыпающаяся вверху.

К этой стене приближались наши бойцы. Это было страшно. Грохот взрывов не прерывался ни на один миг.

Цепи бойцов остановились. Снаряды рвались совсем уже близко. Вдруг наши артиллеристы возьмут немного ближе!.. Надо было собрать всю силу воли, чтобы не податься назад.

И вдруг грохот сразу стих. Над землей еще вилась пыль, а было уже тихо.

По команде бойцы рванулись вперед. Костя упал в воронку рядом с немецким блиндажом и приготовил градату, но метнуть ее не пришлось.

Немцы выползли из блиндажа и побежали. Он взялся за винтовку, остановил свой взгляд на одном из бегущих и выстрелил. Немцы продолжали бежать... Промаях. Жилиев прицелился тщательнее. Немец упал, как будто запнувшись за что-то... Костя выбрал другого. Выстрелил. Немца кинуло в одну сторону, потом в другую. Он некоторое время бежал, как пьяный, потом медленно опустился на колени и ткнулся.

Жилиева охватило такое волнение, что винтовка качнулась в его руках.

Нетерпеливо он стал искать новые фигуры бегущих врагов, но они не попадались на глаза. Или их не было, или взволнованность мешала ему разглядеть...

Из траншей выводили немцев, сдавшихся в плен. Санитары перевязывали раненых.

Мелешко прекратил стрельбу. Жилиев подполз к нему. Снайпер лежал недвижимо.

— Одиннадцать свалил, — проговорил, краешком глаза заметив Костю.

— Вали еще, — все еще охваченный горячкой боя жарко посоветовал Костя.

— Больше не вижу — перебили что ли всех...

— Подожди — появятся еще.

— Одиннадцать — мое любимое число... Больше на одном месте не беру, надо менять позицию, — говорил Мелешко и отполз в траншею.

Почти без потерь подразделение улучшило свои позиции. Они проходили теперь по гребням незначительных высоток.

Отсюда хорошо была видна равнина, простирающаяся вплоть до синеющего в утренней дымке леса. Бойцы поспешно окапывались.

Было ясно каждому бойцу, — враг приложит все силы, чтобы вернуть потерянные позиции.

Бойцы улучшали окопы, отрывали новые ровики. Ждали. Медленно тянулись напряженные минуты.

Командир подразделения решил, что немцы попробуют охватить цепь высоток и окружить. Основные силы он сосредоточил в низинах, а на высотках расположил одну роту, в которой находился Жилиев.

Расчет был правильный. Немцы решили ударить с флангов.

Из леса развернутым строем выступила танковая колонна. За танками шли автоматчики.

Достигнув середины низменности, колонна разделилась на две части и пошла в обход высоток.

Жилиев посмотрел на поле, усеянное вражескими солдатами и танками, и внезапно забыл о том, заряжена ли винтовка.

Наши минометчики клали мины позади танков, отсекая от них вражеских автоматчиков.

— Вот раздолье-то, — сказал Мелешко, прикладываясь к своей испытанной винтовке.

— Жилиев, целясь хорошенько!

Костя поудобнее устроился на краю окопа, тщательно прицелился, выстрелил. Загнал новый патрон, опять выстрелил, а потом стал орудовать винтовкой как-то автоматически.

Страх, что танки врага могут прорваться на флангах и ударить с тыла, исчез.

Костя все время ощущал присутствие товарищей. Вот справа бьет немцев неистовый Мелешко, каждый выстрел — убитый немец. Слева стреляет сухощавый москвич. А дальше с той и с другой стороны близкие и верные боевые товарищи...

братская близость, таинственное братство, рожденное в боях, связывали крепко.

Стрельба усиливалась, но немцы продолжали лезть вперед.

Костя яростно стрелял. Москвич ругался во весь голос. Мелешко молчал, затвор винтовки лязгал чаще, выстрелы сливались в общий гул.

Несколько танков, подбитых бронебойщиками с флангов, пылало, уцелевшие скрылись.

Немецкие автоматчики далеко отстали от танков. Ряды их поредели. Они залегли. Один из них, видимо офицер, размахивал револьвером и что-то кричал... Наши бойцы стреляли теперь реже, тщательно выбирая себе цель и наслаждаясь радостью мести.

День разгорался, и наконец во всем своем блеске засияло солнце. Стало жарко, затем душно. Впереди лежала угрюмая низина. Усеянная трупами немцев, она дышала горячей испариной. Над трупами в колыхающей сетке солнечного света толклись тучки мошканы. Во впадинах, развороченных гусеницами танков, вороненой сталью блестела черная грязь.

Бойцы расстегнули воротнички гимнастеров и безмолвно курили, отдыхая. Но враг, казалось, не знал усталости, боевой пыл его не остывал. Он подтянул свежую часть и вновь двинулся в атаку. Заметив, что с высоток огонь по атакующим был менее плотный, противник повел атаку в лоб, видя, что тут оставлены незначительные силы. Автоматчики на этот раз шли впереди, танки сопровождали их.

Жилиев глядел на равнину, на причудливо изломанные линии приближающихся врагов. Пот стекал по его лицу. Оно было грязно. Рот Жилиева был приоткрыт. Он дышал жадно и часто.

До его слуха дошел приказ не стрелять, ждать сигнала. А немцы приближались. Он приложил к плечу винтовку и впился в нее руками. Пот теперь выступил уж какой-то едкий, появилось ощущение, будто глаза вот-вот лопнут, в ушах гудело...

Немцы, казалось, были уже совсем рядом, а команды «огонь» все еще не было. Теперь уж Жилиев не волновался, не потел, а пылал страшным, иссушающим огнем.

В горле у него пересохло от жажды.

Вся угрюмая низина колыхалась перед ним в виде клочьев зеленого тумана, и на этих клочьях качались ненавистные фигуры немцев.

Торопливая команда: «Огонь! Огонь!.. Огонь!..» Указа-

тельный палец правой руки прильнул к спусковому крючку. Выстрел. Клок зеленого тумана исчез вместе с немцем. В глазах стало светлее. Обрисовался крупный участок низины и группа немцев, идущая прямо на него, на Жилиева. Мелешко работал со всем усердием и неистовством. Немцы падали. Живые упорно шли вперед.

Жилиев жадно хватал воздух пересохшим ртом. Ощущение боли в костях прошло. Он стрелял часто и верно, но это казалось ему недостаточным. Хотелось вырваться из рядов и вцепиться в горло врага руками...

В треске выстрелов, в крике и ругани Жилиев различил скрежет металла; по низине на последней скорости шли танки. С хода они стреляли по нашим окопам. Грохот приближался. Снаряды рвались совсем близко, осыпая землю. У Жилиева пошла из носа кровь. Он несколько раз вытер нос рукавом, но кровь продолжала бежать, тогда он запрокинул голову, чтобы остановить кровь, и в этот момент услышал знакомый слуху противный шум. Он беспокойно высунул голову из траншеи. Прямо на него полз танк. Вдалеке от него виднелось еще два. Головная машина была совсем рядом. Вот она уже вползает наверх по склону. За ней подбираются скрывавшиеся во впадинах автоматчики. Жилиев схватил тяжелую гранату, пробежал по траншее несколько шагов навстречу, метнул ее под танк. Спрятав на секунду голову за край траншеи, он услышал, как лягнула соскочившая гусеница. Танк остановился. Открылся люк, из танка выпрыгнул долговязый немец.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Мелешко и уложил его на месте. Люк закрылся, и застрочил пулемет. Жилиев пустил в танк две бутылки с горючей жидкостью. Обе попали в цель.

Приближались еще два других танка. Гранат и бутылок у Жилиева под рукой больше не было. Он подбежал к Мелешко. Гранаты у снайпера сохранились. Ему некогда было использовать их. Он стрелял.

— У тебя кровь, — ты ранен, Жилиев? — спросил Мелешко, взглянув на товарища.

— Это из носа, — буркнул Жилиев и скрылся. Вернулся он как раз во-время. Первый танк, не дойдя метров пяти до горящего, остановился, чтобы обойти его.

«Действуй, действуй: он бок тебе подставил», — приказывал Жилиеву какой-то внутренний голос. Он заторопился, напрягся весь, чтобы не упустить удобного момента, и одну за другой бросил сразу две противотанковых гранаты. Танк рвануло, разъятая гусеница хлестнула землю.

«Вот тебе еще в бочину,» — подумал Жилиев, а ему казалось, что он крикнул во весь голос. От бутылок танк запылал. Пулемет перестал строчить, танкисты выскочили наружу, побежали, но тут же повалились на землю. Мелешко уложил их. Жилиев принялся за третий танк, бросил гранату, но она не достигла цели. Третий танк повернул обратно.

Атака была отбита. Жилиев посмотрел на две обгорелых громадины и ощутил в себе превосходное чувство уверенности

До вечера было спокойно. Немцы не показывались. Смеркалось. От леса стали бить минометы, затем пушки. Началось.

Над высотками стоял сплошной вой и грохот, сыпались осколки, мучительно стонала терзаемая земля.

В стороне пролетела шестерка наших штурмовиков. Она скрылась за лесом. Вскоре там раздались мощные взрывы. Слоновья пляска взрывов на наших высотках позатихла. Стало легче. Бойцы поднимались со дна траншеи.

Высунув голову из траншеи, Жилиев увидел, как штурмовики крутились теперь уже над лесом, заходили, вздымались, пикировали, стреляя из пушек и пулеметов. Немецкие мины ложились все реже и реже на высотках. Бойцы оживились. Послышался говор.

— Хорошо им штурмовики прописали, — устало проговорил Мелешко.

На равнине в вечернем сумраке замелькали фигуры немецкой пехоты. Мелкие группы шли к нашим позициям во всех направлениях: и на фланги, и к высоткам. Они торопливо приближались, оглашая равнину скороговоркой автоматов и нервным разнобоем выкриков.

Бойцы с усталым безразличием брали вражеские силуэты на мушку и стреляли уверенно. Эта вечерняя атака была явно напрасной тратой сил. Третий раз в усталом и тупом отчаянии немецкий командир старался вернуть удобные позиции. Гитлеровцы лезли вперед, рассчитывая, что минометный и артиллерийский обстрел сделал свое дело. Они были уже совсем близко.

Выстрелы на высотках смолкли.

— Бе-ей гранатами, — надрывался молодой сержант.

Немцы отшатнулись, остатки их скатились со склонов и заметались по равнине.

— Вперед!.. За Родину! — во всех концах траншеи раз-

далась команда. Бойцы выскочили наверх и стремительно понеслись вниз.

Протяжное «У-р-а» перешло в грозный рев. Кололи штыками, били прикладами. Жилиев достиг широкого, тяжелого немца и пронзил его штыком. В пылу боя незаметно миновали равнину и ворвались в лес. На равнине еще было светло, а в лесу разливался полный сумрак. Гитлеровцы здесь оправились от удара и встретили бесприцельным огнем из глубины леса. Жилиев стал за дерево, огляделся. Стрелять, не видя цели, не хотелось.

Сбоку его неожиданно каким-то образом очутилось два немца, и раздался знакомый голос молодого сержанта:

— Отвести!

Сержант махнул рукой в сторону равнины и поспешно скрылся. Жилиев повел. Один из немцев недалеко от вышток запнулся за труп и, медленно поднимаясь, незаметно вытащил из голенища маленький револьвер и выпустил по конвою целую обойму. Жилиев направил штык в грудь немца и, слабея, повалился на него. Мертвой хваткой, сжимая винтовку и грузно падая, Жилиев пронзил немца до земли. Он хотел подняться и не смог. И лежал на трупе врага недвижимо.

— Э-эй, кто там?

— Это я, тетя Настасья.

Костина мать стерегла осенью колхозный огород. Узнав в темноте Таню, сторожиха очень обрадовалась. Она всегда была рада видеть людей, быть с ними, а с Таней в особенности... Любила эту девушку за деловитость, за красоту, за ум и считала бы своего сына счастливейшим человеком, если бы Таня согласилась быть его женой. Называла ее дочкой, голубкой, «метельком»...

— Тетя Настасья, как тут у тебя темно. Ты бы хоть фонарь с собой брала, — проговорила Таня.

— Сказывала я председателю, а он говорит — красину нет... И фонарь, дескать, тебе во вред. После свету ты в темноте вора не разглядишь. Тебе, говорит, глаза надо к ночи приучать, чтобы они лучше тьму-темную разглядывали. У тебя работа такая. Он ведь у нас мудрен. Скажет так, что сначала осердишься, а потом, как подумаешь — верно выходит. Признаться тебе, голубка, — побаиваюсь... Это на пользу. Когда побаиваешься, лучше спать не хочется. А мне ночью спать нельзя.

— А Костя не в тебя, — он храбрый...

— Нечего греха таить: побаивался тоже...

— Здесь побаивался, а на фронте героем оказался, — сообщила Таня.

— Скажешь ты... Героем! — не поверила мать. — Хоть бы мало-малю, как люди, воевал — и то хорошо.

— А он не мало-малю, а лучше многих других дерется, — повышенным тоном проговорила Таня.

— Что ты, голубка моя, как будто сегодня сама не в себе... Откуда ты все это взяла?

Сдерживая себя, Таня спокойно проговорила:

— Бумага в правление пришла. Он два танка подбил. Один на два танка пошел! — восторженно заключила Таня.

— Так и полагается, — сказала Настасья, — за этим он и воевать уходил.

Она смутно представляла танки, борьбу с ними и не видела в этом ничего необыкновенного, и это раздосадовало Таню.

— Видишь ли, тетя Настасья, ведь это нелегко...

— Чего тут легкого... Воевать тяжело, ой, тяжело... Вон как мужики станут рассказывать про войну, так мороз по коже... Пойдем в затишье, а то здесь ветерок надоедает.

В шалаше темно и тихо. Они уселись на сено и долго говорили о войне, об урожае, о делах колхоза.

— Вот спасибо, голубка, что залетела ко мне... Ночь и показалась мне за один час да еще с радостью. Вот сейчас сделаю обход, а тут, глядишь, и утро.

На другой день рано перед выходом на работу состоялось коротенькое собрание. Председатель прочитал бумажку. В ней командование части писало, что красноармеец Константин Жилиев храбро бьет немцев... В последнем бою он подбил гранатами и сжег бутылками с горючей жидкостью два вражеских танка.

«Геройский подвиг члена вашего колхоза должен послужить для всех колхозников призывом к трудовой доблести», — писали с фронта командиры.

Председатель колхоза передал бумажку колхозникам — поглядеть! Бумажка-то ведь с фронта, из самого пекла, где немцев бьют, танки ихние жгут. Потом он осторожно снял очки, убрал очешник с ними и погладил по карману — хорошо ли положил.

— Вот каких молодцов мы вырастили в колхозе, — сказал он. — Парень-то у нас был незаметный, а, гляди, как там проявился. Бойцы наши добиваются скорой победы, нам нужно изо всех сил им помогать. Мы работаем, стараемся, а надо работать еще живее. Вот и все! Кто желает сказать?

Говорить-то мы не мастера. Верно. Мы делом свою резолюцию скажем. Ну, все на работу! А бумажку давайте сюда, уберем, хранить будем.

Колхозники двинулись на работу, переговариваясь между собой. Костя удивил всех. Был здесь таме воды, ниже травы, а там, видишь, как показал себя. Вот и узнай, что на дне русского сердца хранится. Не скоро разгадаешь.

Таня чувствовала, что любит Костю крепкой, вечной любовью русской женщины, любит до гроба, до последнего дыхания.

Она гордилась тем, что первая и может быть единственная в колхозе открыла в нем большую душу, золотое сердце, скромного, доброго, хотя по внешнему виду робковатого парня.

Наступила зима. В колхозе управились со всеми работами во-время. Осталось только обработать лен. Женщины уходили на работу рано утром и возвращались вечером. Перед концом работы приходил на льнопункт председатель.

Старичок надевал очки, вытаскивал из кармана свежую газету и говорил:

— Сегодня опять хорошие вести есть.

Наши войска шли в наступление. Сообщалось об отбитых у немцев селениях, большом количестве трофеев, тысячах пленных. В глазах молодых женщин загорались искорки радостной надежды. Старухи, а с ними и Настасья Жилиева крестились.

— Слава богу. Мало ему еще, окаянному, — говорили они, имея в виду Гитлера, — имя, ненавистное в деревне каждому ребенку.

— Скорее бы в петлю-то его вогнать.

Вечером Таня зашла к Настасье. Какая-то непреодолимая сила тянула ее в ту маленькую избу, которую домовитая хозяйка укутала соломой. В ней было всегда тепло, чисто и немного грустно. Ей приятно было здесь поговорить о Косте, узнать: нет ли письма.

Тане Костя не писал. Это ее не обижало. Не смеет писать, не надеется на ее ответ. Что ж с ним поделаешь. Такой уж человек. Настасья сидела у краешка стола и что-то лениво жевала.

— А-а, метелёк ты мой! — душой обрадовалась она. — Спасибо, не забываешь меня. Садись, погрейся, мороз-то сегодня больно щиплетя.

На столе в стеклянной баночке горел огонек величиной с горошину. В углах избы колыхались густые и сумрачные тени. Таня присела, и ее охватили милое спокойствие и такая грусть.

— Вот сижу и думаю про Костю, — тихо толковала Настасья. — Он, видно, удался в дедушку. Тот на медведей один ходил, больше двух десятков на рогатину взял, а мышей боялся. Мы, палешские, — смиренные, но сердце у нас чуткое, крепкое сердце.

Они с приятностью потолковали о палешанах, о странном дедушке, о Косте. Помолчали. Потом Настасья печально проговорила:

— Сижу вот, жую, ужинаю, а не жуется. Харчи у меня есть, а варить ничего не хочется. Самовар не ставлю. Очень я людей люблю. Одна совсем жить не в силах. У меня к тебе, голубка, просьбица будет. Помоги ты мне выбрать умненькую девочку. Уж очень я умных люблю. Слышала я, что в Шуе есть дети, с войны привезенные. На воспитание их отдают. Вот и порешила взять девочку. Днем-то она в садике будет, а вечером я ее за ручку домой приведу. И будем мы с ней жить-зимовать. Я буду не одна, и девочка будет в семейном жилье. Костя, как бог приведет, придет с войны — рад будет. Он ребяток-то любит. Хлеба у меня много, тепла много, и хочется мне обогреть ребенка.

Председатель писал медленно, долго, крупным, кривым старческим почерком, без помарок.

Написав, он сказал Настасье:

— На вот, все слова изложил, как ты заслуживаешь

— Таня, прочитай, как меня мудрец-то наш описал, — попросила Настасья. Таня стала читать:

«Гражданка деревни Наседкино Анастасья Прохоровна Жилиева, колхозница артели «Колос», живет одинокая, продуктов питания имеет вдоволь и молочную корову, характером спокойная, детей обожает и для воспитания ребенка имеет на сегодняшний день условия и доброе сердце.

В колхозе работает всякое дело безотказно, так что воспитаннице будет хороший пример».

— Хорошо написал, — похвалила Таня.

— Я уж не промахнусь, — сказал старичок-председатель, — такую бумажку не стыдно и в Совнаркоме показать.

Настасья осталась очень довольна и в свою очередь похвалила председателя:

— Одно слово — золото голова...

Председатель велел заложить самую лучшую выездную лошадь в лучшие пошевни.

— Чтoб там чувствовали, из какого колхоза к ним приехали, — гордо сказал он. — Сами себя благороднее представляйте. Наседкинские приехали! Ребенка не остудите. Государственный ребенок-то! Туда потише поезжайте, а от туда побыстрее. И лошадь в силах останется и ребенок не остынет. И чтобы все в порядке было. Вы не кое-кто — наседкинские.

Честь колхоза он ставил превыше всего.

— Когда наш колхоз будет на последнем месте, ищите меня в петле, под застрехой, — говорил он часто колхозникам.

Таня и Настасья оделись во все праздничное. Старик сам вышел осмотреть выезд. Дело шло о человеке. Маленький этот человек, пострадавший, ему особое внимание нужно. Ведь не только Настасья брала его на воспитание. И колхоз брал. Не будь колхоза, кем была бы Настасья Жилева? Нищей старухой. Какое свое хозяйство она могла бы править? Огород да пяток куриц.

Старик придирчиво осмотрел все и сказал:

— Ну-у, счастливо!

Таня подобрала вожжи. Настасья всхлипнула и перекрестилась. Жеребец «Достойный» рванул с места крупной рысью.

— Сдерживай! — крикнул председатель. Таня туго натянула вожжи.

Заведующая детским домом приняла их с привычной приветливостью, с первого взгляда узнала, зачем они сюда явились, познакомилась с ними. Усадила их в кресло. Прочитала бумажку, написанную председателем, сказала:

— Чудесно. Ребята у нас хорошие. Они будут ко мне входить, а вы сидите, ничего не говорите, приглядывайтесь к ним.

Она вышла из комнаты, минут через пять вернулась обратно и села к столу. Девочка принесла ручку. Другая пришла попросить листок бумаги для руководительницы Анны Петровны, с третьей прислали из комнат какую-то книгу записей. Девочки входили и выходили. Таня и Настасья тщательно всматривались в лица, следили за движениями. Потом ловко, вольно вошла девочка лет четырех-пяти, она принесла охапку елочных украшений, сообщила, что они раздевают новогоднюю елку, заметила, что украшения надо убрать и беречь, и ловко расставила их на столе.

У нее было круглое румяное личико, большие иссиня-серые глаза. Все движения ее были легки, округлы и энергичны. Разговаривая с заведующей, она наклонилась, подняла с пола какую-то бумажку, положила на стол у письменного прибора.

Потом приходили еще дети, но взгляд Тани скользил мимо. Круглолиценькая девочка вдруг стала родной. Таня посмотрела на заведующую и многозначительно улыбнулась.

«Вот как бывает в жизни, — говорил ее взгляд, — проходят люди, проходит много людей, и вот появляется среди них один, чем-то вам близкий, и вторгается в ваше сердце».

— Я очень хорошо понимаю вас, — душевно заговорила заведующая. — Она не красавица и бойкостью не отличается, кажется, совсем средненькая девочка, но вот покоряет чем-то, какая-то внутренняя сила что ли в ней заложена. Вот пришла, так и этак повела ручонками (заведующая попробовала повторить ее движения) и решила вопрос.

— У хорошей матери родилась и росла она, — сказала Настасья.

— Может быть вы пересядете вот сюда? — сказала заведующая. — Я скажу, что за ней приехала бабушка, и она сейчас прибежит. Девочка эта подобрана во фронтовой полосе давно, с детскими домами постепенно двигалась и попала вот к нам. Никаких данных о ней нет. Называет себя Галя, фамилии назвать не может, родителей не помнит, но ждет их, как и все наши ребята. Сейчас пришло. Если она проявит бурную радость, вы не смущайтесь.

В комнату вбежала девочка, не забыв закрыть за собой дверь. Скользнула взглядом по молодому и старому лицу, решительно подошла к Тани и потянулась обнимать ее.

— Мама!

«Мать у нее, видно, была совсем-совсем еще молодая», — подумала Настасья. Таня смутилась, но постаралась скрыть от девочки смущенье. Крепко-крепко прижала к себе и расцеловала. Примеривалась что-нибудь сказать, но все слова, приходившие на ум, казались неподходящими.

— Девочка моя, а вот за тобой еще бабушка приехала, — вкрадчиво проговорила Таня после тягостного молчания.

Девочка ласково и доверчиво придвинулась к Настасье. Таня пристально следила за своей старой подругой. Настасья удивила ее своим спокойствием, высоким человеческим достоинством, приветливым и вместе с тем властным обращением с ребенком. Она погладила девочку по головке, поправила несколько сбившихся волосиков и приятно заговорила:

— Давно я тебя не видала, голубонька моя... Какая ты большая выросла.

Настасья достала из-под шали, спущенной на плечи, сумку. Таня проехала с Настасьей тридцать верст, а этой сумки в ее руках не заметила. Вот аккуратность, вот умная скрытность! Настасья открыла сумку, вынула белую лепешку, неторопливо, с наслаждением, разломилась ее пополам и отдала девочке. Сдобная, светлая лепешка благоухала душистым русским маслом. Потом она вытащила маленькие новенькие варезки, плотно, любовно связанные:

— Это я тебе связала. Мы далеко поедем. Домой! Не лошадке... Ручки-то у тебя и не озябнут.

Девочка заглянула в сумку.

— А тут еще кипяченое молочко и еще лепешки. Может, ты дорогой пить-есть захочешь... Молоко я теплым храню.

«Так жить надо, — сказала себе Таня, — все у нее заранее продумано, приготовлено». С этой минуты у нее возникло большое уважение к этой старой незаметной женщине, которая считалась в колхозе рядовой из рядовых, стерегла огород, возила навоз, мыла полы в правлении, копала торф... Девочка забыла о Тане, всем сердцем прильнула к старой женщине, чувствуя не только ее неподдельную ласковость, но и властную волю.

Поговорив с девочкой, Настасья легко подняла ее и усадила к себе на колени. Вдруг девочка спустилась на пол и выбежала вон из комнаты. Таня и Настасья озадаченно переглянулись: что такое с ней? Через несколько минут из соседней комнаты послышался ее звонкий ликующий голос:

— Лебятя, я совонде уйду от вас к маме.

Она бегом вернулась и вновь забралась на колени к Настасье.

— Простилась с ребятами? — спросила Таня.

— Ага, — кивнула головкой девочка.

Вскоре вошла заведующая.

— Свиделись! Вот теперь домой поедете. Пойдем, детка, мы покормим тебя на дорогу.

Они ушли.

— Умненькая, ловкая, простая девочка, — сказала Настасья, — люблю я умных.

После обеда девочку хорошо собрали. Все надели чистое.

— Шубенка еще новенькая, а вот валеночки поистрепались, но подшить их еще можно, — говорила заведующая. Потом она завернула в узелок запасное белье и платье.

Настасья смотрела на это и думала: «Порядок хороший соблюдается».

На обратном пути Таня вспомнила слова председателя «ехать побыстрее» и тронула «Достойного» вожжей. Замелькали деревушки, перелески, озябшие прохожие, холмики с краснощекой детворой, катающейся на лыжах.

К вечеру подъезжали к Наседкину. Девочка к чему-то тревожно прислушалась, и в глазенках ее появился испуг. Настасья высвободила из-под шали одно ухо, но ничего не услышала. Девочка не успокаивалась, взгляд ее темнел.

Когда достигли околицы Наседкина, шум стал явственнее, девочка залилась слезами, съежилась в уголке саней и, дрожа всем телом, старалась убрать головку под тулуп, в который была завернута. Настасья вопросительно посмотрела на Таню.

— Немцам испугана, — объяснила девушка и, придерживая лошадь, принялась уговаривать девочку:

— Это у нас трепальное колесо шумит... Колесо Сергева... Лен обрабатывает...

Девочка плакала и хоронила в тулуп.

Таня пустила жеребца во всю прыть.

— Настрадавшаяся, — сказала Настасья, — вытаскивая у своей избы заплаканную питомку из саней.

Таня приехала на конюшню, сдала там «Достойного» и зашла посмотреть на Галю.

Настасья ставила самовар. Девочка играла с котом. Он лежал, прислонясь жирным боком к печке, и снисходительно трогал лапой конец веревки.

На питомку зашел взглянуть председатель. Надел очки. Присмотрелся.

— О-о! Наша деревенская, — оживленно сказал он. — По глазам вижу.

— Неужели по глазам можешь определить? — подивилась Настасья.

— Как же... Точно! Не ходи к гадалке... Деревенская! Глаза спокойные, ясные, росла в тишине, дали лучистые видела.

Видя, что девочка перестала играть и серьезно прислушивалась к этому разговору, Настасья поманила председателя к себе и шопотом сказала ему:

— Она домой приехала. Никаких о ней разговоров не надо. А у тебя глаз — алмаз. Верно — она деревенская. Знает, где у печки печурка. Варешки туда греть сунула. А валенки сняла — и на печку сушить...

— Тепло у тебя, Настюня, хорошо ты избу на зиму упаковала. Нигде не шикнет. — Он прошелся по избе и по привычке проверил — варежки сушились в печурке, валенки на лещке. Валенки он поковырял пальцем, недовольно поцокал языком и поставил на место.

— Ты, Таня, забегай почаще теперь, — говорил он, снимая очки, — ребенку веселее будет. Ну, живите-здоровствуйте в тепле и сытости.

Через неделю к Настасье вновь зашел старичок-председатель. Поздоровавшись, он прижал ладони озябших рук к печке и сказал:

— Живы-здоровы, стало быть?

— Здоровехоньки, — весело ответила Настасья. — Ладно живем.

Отогрев руки, председатель подошел к девочке, вытащил из-за пазухи маленькие снежно-белые валенки, стукнул сапог о сапог и пропел:

Башеньки, башеньки,
Купили Галя валенки.
Будет Галитенька ходить
Новы валенки носить.

Он встал на колени, обул девочку в новые валенки и велел ей пройтись.

Низко склонив голову, любуясь обновкой, Галя мелкими шажками прошлась по полу.

— Хороши, — воскликнул председатель. — В самый раз. Носи на здоровье.

Затем он присел на табуретку и заговорил о том, о сем. Нынче хороший приплод на скотном дворе, на овчарне. Помянул эвакуированного старика — кузнеца. Толковый дед, старательный, но часто засыпает, согрешившись у горна. Приставил к нему двух парнишек, — пусть учатся у деда и тревожат его. «Ты владыка тут, — говорю, — управляйся с ними, руководи». Теперь поглядывает, покрикивает, дремать-то некогда.

Люди деревни жили в суровом напряжении, невпример прошлому, хорошо и много работали, а горе ходило от дома к дому, стараясь подточить их стойкость.

Убит муж Матрены Баженовой. Сегодня пришло известие. Степан Голдобин ранен. Пишет из госпиталя. Война. Огромная война. Председатель вздохнул и поскучнел.

— Вчера в Палех ездил, — вновь заговорил председатель. — Сын с фронта письмо прислал, просит прислать шкатулочку поинтересней. Рассказал: пишет там про палехских художников, товарищи желают посмотреть их работу. Купил дорогую коробочку. Про Пушкина... Старушка сказки ему рассказывает, а он слушает и мечтает... А по сторонам чудеса из сказок изображены. Есть что поглядеть. И вот оттуда горькую весть тебе привез. Какой-то солдатик просит коробочку ему нарисовать и тут же приписывает, что у него был на войне хороший товарищ, называл себя палехским, фамилия ему Жилиев Константин. Письмо я сам смотрел. Так и написано: Жилиев Константин.

— Так ведь недавно нам в колхоз про него сообщали, что он жив и на отличку воюет, — дрожащим голосом проговорила Настасья.

— Там, Настюня, все рядом: и слава и смерть.

Председатель помолчал.

— Крепись — переживай, — твердо промолвил он. — Горе теперь к нам то и дело заглядывает, но поддаваться ему мы не будем. Ты теперь не одна, — у тебя утешенье есть, — кивнул на девочку, — подпора в твоей жизни.

Он смолк и пристально посмотрел на Настасью. Эта тихая, скромная женщина сдержанно воспринимала радости, тихо переживала горе. Так, по крайней мере, со стороны казалось.

Председатель видел сейчас, как потемнело ее лицо, вся она сникла и тихонько заплакала. Галя, почувствовав неладное, подошла к ней, тревожно посмотрела в лицо и стала нервно тереть рукав ее темной старушечьей кофты. Настасья порывисто взяла ее на руки и крепко прижала к себе.

«Могутной души старуха», — подумал председатель.

— Горе от избы к избе так и ходит, — невнятно заговорил он, смахивая кулаками непрошенную старческую слезу. — Но все мы перенесем, осилим... Костяньтин героем пал... Гордиться надо... За Родину!.. За всех за нас!..

Узнав о смерти Кости, Таня ощутила страшную пустоту вокруг себя. Из сердца ушло что-то большое, горячее. Только теперь ей стало ясно, как она давно и сильно любила этого парня.

Она не плакала, никому не жаловалась, она скрывала горе, как прежде скрывала свою любовь, но все заметили, как она в течение нескольких дней исхудала, побледнела. Исчезла веселая, румяная, подвижная, как ветер, вездесущая Таня. С головой выдавали теперь ее голубые вырази-

тельные прекрасные глаза. Исчез в них жаркий блеск юности, подкупающая доверчивость...

Люди вздыхали, видя ее грустный страдающий взгляд.

— Татьяна, я тебя в лес назначил ненадолго, — объявил ей председатель. — На воздухе проветришься, разомнешься, — страданье от сердца скорее отойдет.

Таня строго посмотрела на него:

— Какое страданье?

— Знаю, знаю... От меня не скроешь... Не станем об этом говорить.

Забота председателя была понятна. Многих исцелил в эти дни страданий напряженный труд. Она потупилась и покорно спросила:

— С фермой как быть?

— За фермой я сам присмотрю. Это ведь ненадолечко. Как полегче станет, я тебя верну.

В поезде было скучно и людно. Разговаривали мало, на вопросы отвечали сдержанно. На полке лежал красноармеец. Он долго спал, потом проснулся и, лежа вниз животом, пристально смотрел в верхнюю часть окна. Мелькали деревни, перелески, будки.

Рядом на койке спал, пригнув голову к огромному мешку, парнишка лет шестнадцати в форме ученика ремесленного училища. Он проснулся, вытер слюну с губ и вытащил из необъятного мешка увесистый мешочек махорки. Это был свежий, душистый самосад.

— А вы завертывайте, у меня много, — почтительно сказал паренек, — на дорогу даже могу отсыпать.

— Завертывать-то еще не выучился, — грустно усмехнулся красноармеец. — Видал я, некоторые умеют, а я еще нет. Надо будет попрактиковаться.

Паренек посмотрел на красноармейца и догадался предложить:

— Тогда я для вас могу завернуть.

— Заверни, буду благодарен.

Они закурили.

— Домой на побывку ездил? — спросил красноармеец.

— У матери был.

Поезд пришел на станцию после полудня. Красноармеец, не медля ни минуты, пустился в путь, но часа через полтора почувствовал усталость. «Выпахался». — подумал он и пошел тише.

Злая поземка с присвистом заметала дорогу. В сумерках ветер стал затихать, но пошел снег.

Красноармеец споро шагал по дороге и вечером пришел домой. На крыльчке двери замка нет — значит мать дома. Он миновал сени, открыл дверь в избу, шагнул через порог и хотел пройти в передний угол, но тут ему дорогу заступила девочка лет четырех-пяти.

— Мамы совонде нет дома, — сказала она твердо. — К нам нельзя. Я одна.

Он опешил — хоть назад уходи. Вот так прием в родном доме.

— Она скоро придет. Я ее подожду. Чья-то неизвестная сюда забежала, да еще хозяйничает, — с ласковой улыбкой сказал он.

Но девочку обидели эти слова. Она сузила глазенки и решительно заявила:

— Совонде не пустю.

Это на него подействовало, он почувствовал некоторую растерянность и с ноткой раздражения проговорил:

— Как это «совонде не пустю». Мне нужно именно сегодня, а не завтра.

Он дотронулся до плечика девочки и хотел ее легонько отстранить, но увидел: нижняя губа у нее затряслась, глазенки наполнились влагой — вот-вот она сейчас расплачется. Поспешно склонился к ней и успокоительно, заискивающе заговорил:

— Я только у порожка посижу, отдохну... Я очень устал... Ладно?

Просьба тронула сердце девочки, и она милостливо согласилась:

— Ландо.

Он присел на скамейку у двери и положил сумку к себе на колени. Девочка поставила табуретку напротив него и вскарабкалась на нее. Участливо заговорила с ним:

— Совонде усталь?

— Устал.

— Рука устала? — спросила девочка, указав на безжизненно повисший левый рукав шинели. Он покосился на рукав, потом посмотрел на девочку и грустно усмехнулся:

— Рука эта, положим, не устала, потому что ее нет, отшибли ее.

— Фасисты, — догадалась девочка.

— Они самые.

Девочку что-то передернуло, она мучительно поморщилась. Затем, пересилив себя, она расслабленно спустилась с табуретки и скрылась в углу за печкой. Вернулась она с тарелкой в руках. На тарелке лежал криво отрезанный маленький кусок пресного пирога с картошкой.

Его неожиданно охватила теплая взволнованность.

— Вот спасибо, маленькая, — поблагодарил он, — покормить меня догадалась.

— На тавелочке, — похвасталась она, довольная своей аккуратностью.

— Да ты, видно, тут хозяйка: и пирогами и тарелками распоряжаешься.

— Совонде я хозяйка, — важно сказала девочка. Это «совонде», очевидно, ей нравилось, она употребляла его то и дело и произносила звонко...

Он смотрел на эту простенькую, хлопотливую, не по-детски озабоченную девочку с широким кругленьким личиком, большими умными глазами и решил, что где-то ее давно-давно видел или на кого-то из близких знакомых она похожа.

«Наверное, видел, — заключил он, — чья-нибудь соседская...

Бегают, бывало, мелькают перед глазами, а чьи — не знаешь. Уж очень много их перед войной народилось... Мать приглубила от скуки одиночества».

Маленького кусочка пирога хватило только на три глотка. Он протянул девочке пустую тарелку.

— Все? — удивилась она. — Еще нельзя... не кушошничай, а то за столом есть не будешь.

От этих слов в душу его нахлынуло ушедшим очарованием далекого собственного детства. Мать, бывало, по его просьбе резала кусок пирога, а когда он просил еще, она говорила:

— Не кусошничай, а то за столом есть не будешь. «Есть за столом» — это значило обедать, «кусошничать» — есть всухомятку.

— Как тебя зовут, хозяйка?

— Галя.

— А фамилия?

— Жилыева.

— Ты будешь Геннадия Петровича дочка?

Девочка неосознанно повторила за ним:

— Буду дочка.

«У дяди Пети, где-то в городе жил сын Геннадий, у не-

го были дети... Семья приехала в деревню» — строил он предположение.

Дверь отворилась, в избу вошла Настасья, прошла прямо к девочке и погладила ее по головке:

— Вот умница! Сидит — посиживает.

— Мам, у нас дядя... Он устал.

— Какой дядя?

Настасья обернулась, отпрянула назад и начала часто-часто креститься. В глазах ее он увидел испуг и засмеялся:

— Что ты, мама?

Увидев его живую усмешку, услышав его голос, мать пришла в себя. Испуг в ее глазах сменился изумлением.

— Костя! Родименький!.. Ты жив?

— Как видишь — жив.

— А ведь сообщали, что ты убит.

— Кто сообщил?

— Да какой-то твой приятель с фронта.

— Ошибся он, — я жив.

— Так что же ты в уголке приютился? Раздевайся, проходи к столу.

— Я бы давно разделся и прошел, да вот девка не разрешает, «совонде не пустю» говорит...

— Так, так, она у меня строгая. Ей наказано: «никого не пускай, когда меня дома нет», вот она в точности исполняет.

— Чья это у тебя?

— Это дочка моя, — громко сказала Настасья. Потом подошла к сыну и тихо, шопотом, чтобы девочка не слышала, объяснила ему все.

Константин разделся, походил по избе. Все в ней было на старом месте: икона в углу под потолком, несколько снопиков целебных трав под ней. Немного поодаль на стене портреты Ленина и Сталина. У стены на лавке был уголок Гали. Тут стояла банка из-под консервов с пуговицами, камешками, иголками, лежала тряпка с начатой вышивкой.

Настасья была вне себя от радости. Теперь ее изба была полна жизни. Чем больше было работы, забот, тем лучше она себя чувствовала. Сын вернулся.

— Вот и дома ты теперь, родименький, — говорила она. — А это ничего, — кивала она на левый рукав гимнастерки, продернутый концом под ремень. — В колхозе всем дело найдется. В поле нельзя работать, можно сторожем...

Костя продрог в пути и полез погреться на печку.

— Погрейся, погрейся, — оживленно говорила мать, —

крови-то много потерял, — тебя сугрев и не берет. Обогрей косточки-то. Там хорошо. Премию бы тому надо дать, кто русскую печку придумал.

— Метра бы три сукна, — отозвался Костя с печи.

— Непременно сукна, — согласилась мать.

Приятное тепло охватило его исхудалое, обескровленное тело. Солдат-инвалид блаженно вытянулся. Вот он и дома. Позади боевая учеба, походы, бои, страшные фронтовые дни. Теперь тепло родной избы, работа в колхозе. Сторожем, говорит мать... Что ж, можно и сторожем.

— Татьяна тут часто ко мне заходила, — слышится снизу голос матери, — и о тебе спрашивала.

Мать растопила подтопок, гремит чугунами, хочет чем-то вкусным его накормить.

— Таня? — переспрашивает он и не верит. Это мать говорит для того, чтобы его порадовать.

— Да, да, Таня Ланцова, — подтверждает мать.

Он часто вспоминал о ней на фронте. Там она была еще дороже его сердцу. Но теперь он не надеялся на ее внимание. Она бойкая, умная, красавица, а он инвалид. Едва ли она уделит хоть долю того внимания, до которого снисходила раньше.

С думами о Тане он забылся в тяжелой дремоте. Очнулся он от прикосновения маленькой осторожной руки. Девочка погладила его по щеке и засмеялась.

— Совонде я гулять пойду, — сказала она и, стоя на припечке, подняла ножку в белом валенке.

— А, Галя Совонде, — обрадованно сказал Костя. Он посмотрел вниз: — Какие чудесные у тебя валенки. Кто это тебе купил?

— Председатель ей принес... От колхоза подарок. Вставай, самовар готов.

— Сейчас она на заготовках. Ненадолечко председатель послал ее лес рубить, — ни с того, ни с сего проговорила за столом мать.

— Кого это? — спросил сын.

— Таню.

Приехав в лес за новым возом дров, подвозчица Маня Беяшкина сказала Тане:

— Тебе, девка, председатель велел домой ехать.

— Что случилось?

— Костя Жилиев приехал

Таня зарумянилась. Взгляд загорелся...

— Как же это? — сбивчиво заговорила она, а ведь говорили...

— Ну, мало ли что говорят... Только радость-то невелика: безрукий он теперь...

Таня пошла в деревню.

Унылая зимняя картина разворачивалась перед ней. Леса густые, с пышным инеем на ветвях, похожие на белые облака, зацепившиеся за землю. Узкая дорога, накатанная до блеска полозьями дровней. Ровные поля с волчьими и лисьими следами. Посмотришь на эту картину — и грустно станет. А люди здесь живут века и любят свой край тихой и неизбывной любовью. И Таня любила его.

В нем была большая и неприметная на первый взгляд красота. Маленькие дружные деревни и села, уютно устроенные на берегах речек и рек Палешки, Люлешки, Лу-ха, Люлеха. Люди чуткие, с тонким вкусом и поэтическими сердцами страстно любили свою скудную северную землю и наименовали села, деревни, уголья, урочища, реки и речки милыми названиями.

Из-за перелесков, из-за порослей ракитника по берегам выглядывали светлые окна теплых изб, как глаза ласковых, приветливых жителей. В любой из них можно было обогреться, закусить, сердечно побеседовать с хозяевами, но Таня быстро проходила селами, деревнями, деревушками — торопилась домой.

«Только радость невелика, безрукий он теперь», — звучали в ее душе слова Марьи, но это не останавливало ее. Она любила его большой любовью.

...Костя сидел за столом и рисовал на бумажке. Рядом с ним сидела Галя и неотрывно следила за движениями карандаша. На маленький бугорок лезли танки с крестами на боках. Крошечный человечек высунулся из-за бугорка, поднял руку с бутылкой в руке.

— Это я немецкие танки поджигаю, — говорил Костя, набрасывая рисунок. Рисунок был примитивен, но он восхищал Галю, глазенки ее горели, она трепетала вся.

— Вот уж передний танк загорелся, а я ему еще подаю жару для верности. Немец горит... — Красным карандашом Костя изобразил язык огня на неуклюжей фигурке немца. — Видишь, как он горит.

Галя от восторга всхлопнула в ладоши:

— Немец горит!

Она потребовала прибавить на немца огня, чтобы горел сильнее. Художник охотно удовлетворил ее желание — немец запылал сильнее, потом превратился в клубок огня.

— А этого немца, как только он выскочил из танка, снайпер Мелешко одним выстрелом свалил. Вот немец ух, хлопбыстнулся пузом вниз... А третий побежал. Мелешко его сейчас сразит. Мелешко не промахнется, нет! Вот он, мой дружок фронтовой, рядом со мной. — Костя нарисовал еще фигурку на бугорке. — Винтовку нацелил, сейчас выстрелит...

Костя взял красный карандаш, и на конце винтовки появилась красная метелочка:

— Выстрелил! Немец повалился.

Дверь распахнулась. В клубе морозного воздуха, ринувшегося в избу, появилась Таня.

Черные валенки были в снегу, воротник шубы, подушало, брови и ресницы в инее. Белые от инея полушалок, пушистый воротник напоминали причудливый ком снега... Из него выглядывало румяное от мороза, улыбающееся лицо Тани.

Девочка стремительно подбежала к ней и обняла холодную полу ее шубы:

— Совонде озябла?

— Не озябла, а жарко даже, Галя. Шла быстро.

Настасья подбежала с тряпочкой:

— Дай-ка, голубонька, я снег с тебя стряхну.

Костя растерянно привстал за столом, не веря своему счастью, да так и стоял, оцепенев.

— Здравствуйте, — оживленно говорила Таня. — Как живете? Давно я у вас не бывала.

Сняв пальто, полушалок, она прибрала гребенкой волосы и подошла к столу:

— С приездом! О, целая рука еще осталась. Мне сказали: совсем безрукий. А раньше кто-то сообщил, что убит. Садись! Что ты стоишь?

— Да все еще не верится, что вижу тебя.

— Пора верить... Не маленький. Смелости, наверное, набрался, на войне побывал, воевал храбро — писали об этом: Награды, видать, имеешь. Что это у тебя?

— Медаль «За отвагу» и Орден Отечественной войны.

— Ого! А руку-то как потерял?

— Немец в меня из револьвера.

— А ты его?

— Я в него еще штык успел всадить.

— Это неплохо. Письмо что ли пишешь?

— Да нет... С Галькой художеством занимаемся.

— Галя, где канфорка от самовара? — кричала от печки

Настасья, готовя праздничное чаепитие. Это была радость

ная минута в ее жизни. Нежданный приход Тани был явным подтверждением ее любви к сыну. Мать чуяла в этом залог их будущего счастья.

— Вот канфорка, — сказала Таня. В ее поведении было что-то властное, хозяйское...

— Теперь мне расскажи, как ты немецкие танки поджигал! — Она придвинула к себе листок с рисунком и стала рассматривать.

— Занимали мы высотку, это я, это друг мой фронтовой снайпер Мелешко, — показывал карандашом Костя. — Отбивали вторую атаку, немцы лезли, как очумелые...

И полился плавный рассказ фронтовика.

«Вот вам и трус», — думала Таня, слушая его и мысленно укоряя кого-то.

После чаепития она сказала Косте:

— Теперь проводи меня. Надо, кстати, на ферму зайти. Кажется, что целый век я свою ферму не видела.

— Да уж надо думать, — подхватила Настасья, — сколь ведь трудов твоих в нее вложено.

Но деревне Таня гордо шла под руку с Жилиевым. Они зашли на ферму. Стояли коровы длинными рядами, звенели струйки молока, ударяясь о стенки жестяных ведер. Встречались доярки с полными ведрами молока. Они здоровались, поздравляли, сливали молоко и вновь уходили к коровам...

— Как будто больше скота стало? — заметил Костя.

— Почти вдвое больше, — сказала Таня.

— За войну вдвое больше стало скота, — вот как бабы-то работают, — многозначительно проговорила пожилая доярка Евстафьева.

С фермы они прошли в правление. Посидели, потолковали с председателем.

— Нам тут писали про твои подвиги, мы собрание проводили в честь тебя, уборку урожая решили ускорить. И ускорили. Бригадир у нас во второй бригаде нет. Был временный, да родить ушел.

— Не ушел, а ушла, — поправила Таня.

— Ушла, так ушла. Вот тебя, фронтовик, мы и назначим. Ну, а ты, Татьяна, худеть перестань, начинай поправляться, видишь — горе твое оказалось напрасным.

— Какое горе? — притворно изумилась Таня.

— Ладно, ладно, — прикрикнул на нее председатель, — все знаю, не скроешь.

— Глаз у тебя, старик, уж очень пронзительный, — усмехнулась Таня.

— В свой дом, наверное, его жить-то перетащишь. У Настасьи домик крохотный, а у тебя большой, просторный, — продолжал этот старик с пронзительными глазами. — Тебе не захочется итти в маленький из своего обширного.

Таня смутилась и возмущенно проговорила:

— Герасим Ефимович, как тебе не стыдно... Еще ни коня, ни возу, а ты...

— Я ведь, Таня, практик, в корень дела смотрю.

— Совершенно верно, Герасим Ефимыч, — согласился Жилиев, — мне, фронтовику, все равно, а Таня пусть сама выбирает, где ей удобнее жить.

Таня встала и подала председателю руку. За ней поднялся и Константин.

— Устраивайтесь удобнее, чтобы потом не обижаться. Желая счастья! — сказал председатель.

Вскоре он вышел из правления и направился домой. По привычке остановился, посмотрел вдоль улицы. Таня с Костей поднимались на крыльцо дома Ланцовых.

«Я знаю, что из своего пятистенка в избушку к Настасье она не пойдет» — подумал председатель.

Жилиев ехал в Палех. Он взял две фотографические карточки — с себя и с Тани. Ему хотелось преподнести своей возлюбленной дорогой подарок — шкатулочку с миниатюрой палехского художника. Мысленно он представлял себе ее так: зима, жгучий мороз, на улице шипит злая поземка. Девушка берет из обледенелого колодца воду. Добрый молодец идет ей навстречу. Внизу еле видная надпись золотом: «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет».

А девушка эта — Ланцова Таня, а добрый молодец — Жилиев Константин. На то он и карточки захватил с собой.

В мастерской художников была такая тишина и какой-то особенный мир, что Косте хотелось сесть поодаль от художников и просидеть тут в молчании целую вечность.

В мастерской было светло и тепло.

Художники очень приветливо расспрашивали гостя о фронтовой жизни.

В углу за столиком сидел маленький щуплый человек с длинными отвисшими усами. Одет он был в белую косоворотку, зеленые ватные брюки и черные валенки. Кисти голубого крученого пояса спускались чуть ли не до самого пола. Это был знаменитый палехский художник, заслужен-

ный деятель искусств. Его миниатюры были сотнями разбросаны по свету и озадачивали и покоряли всех изощренной игрой красок, виртуозностью мастерства. На крышке шкатулки рисовал он сейчас битву, и все в этой битве было — стремительность, порыв: летели кони, бежали люди, рубились, кололи, падали, умирали, рвались вперед.

Изредка он отрывался от работы, порывисто вставал и подходил к соседу, который расписывал все стороны большого ларца. На одной стороне он изобразил Ледовое побоище, на другой Куликовскую битву, на третьей — взятие Кремля Мининым и Пожарским, на четвертой — Бородинское сражение, на крышке — разгром немцев под Москвой.

В росписи мелькали сотни всадников, пеших воинов, коней, сабель, ружей, пушек; тут было изображено не менее десятка прославленных полководцев.

Маленький художник в белой косоворотке любовался работой друга и отрывисто, несколько бессвязно говорил:

— Конечно, я с художественной точки... Действительно раз и навсегда ты — янтарь земного шара... Понимаете — великолепная работа... На сто процентов... Благородно и ценно.

— Но за тобой, Иван Иванович, не угнаться.. Твои работы мощи огромной, — говорил скромный художник в поношенном пиджачке.

— Наоборот... Понимаете — бури стихии, — возбужденно заговорил маленький. — Как я уже говорил, с художественной точки... Мои произведения стихиями пахнут... Да! Во мне кипит все!

Как бы рассерчав на кого-то, он замолчал, стремительно подошел к своему столику и вновь принялся за работу.

Дальше виднелась крупная фигура старого художника. В его миниатюрах цвел тучный и радостный мир. Багрово-красное солнце, деревья, цветы были округлы, материальны.

Он рисовал Микулу Селяниновича — олицетворение силы народной.

Один из художников приготовлял для себя краски. Он разбил яйцо, отделил белок, долго перекидывал желток с ладони на ладонь, чтобы отделить от него остатки белка. Затем опустил желток в баночку, налил туда уксусной эссенции, взболтал. Получилась эмульсия мутно-коричневого цвета. Насыпал в ложки с отбитыми черенками краски, залил эмульсией и размешал. Вооружился маленькой кисточкой из волосков беличьего хвоста, кончик которой был острее острия иголки, и принялся за работу.

Дивный мир пушкинских сказок вихрился на крышке

шкатулки размером в мужскую ладонь. Посредине стоял дремучий дуб. В широколиственной кроне дуба была раскинута золотая цепь. По ней, важно загнув хвост, ходил кругами мудрый кот.

У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

Под дубом, прислонившись к стволу, стоял задумчивый Пушкин. А вокруг этой картинки, составляющей центр миниатюры, уместились главные эпизоды всех пушкинских сказок.

«Это художники, известные всему миру, их работы стоят огромных денег, — подумал Жилиев. — С ними мне не сговориться».

Он прошел дальше, постоял, огляделся и увидел в дальнем углу тихого, остроносого старичка в ватной фуфайке.

Старый художник, начиная новую работу, сделал поверхность коробочки шероховатой и сейчас сметал с нее пыль крылышком вальдшнепа. Перед ним стояли две расписанные коробочки. На одной из них был изображен генерал-майор, Герой Советского Союза, на другой — генералиссимус Суворов со всеми наградами и орденскими лентами.

Жилиев, отозвав его в сторону, осторожно сказал:

— У меня до вас будет просьбица.

Он шопотком изложил «просьбицу».

— Ты чей будешь?

— Из Наседкина. Жилиев Константин.

— Не о тебе ли тут недавно писал нам один фронтовик, что ты убит.

— Надо быть, обо мне. — Костя попросил показать это письмо. Разыскали письмо. Оно было короткое.

«Дорогие мужички! Пишет вам фронтовик снайпер Мелешико. У меня есть драгоценный подарок — коробочка с картинкой: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?». Этот подарок мне преподнесли за меткую стрельбу по фашистам. В минуты отдыха я часто люблюсь вашим рисованием, и это дает мне отраду, утешает меня в моем нестерпимом горе. А горе мое велико. Семья моя осталась на занятой территории, и фашистские злодеи уничтожили мою семью. Хранится у меня одна память о семье — фотографическая карточка с маленькой дочурки. Если можно, нарисуйте личико моей девочки на шкатулке, я буду хранить ее как святыню.

Со мной служил в одной части, и бился с немцами один

хороший парень, стойкий боец — Константин Жилиев. Он был родом от Палеха и рассказывал о своей местности. Я плакал, когда мне сказали, что он убит в одном жестоком бою, в котором мы здорово шибанули немчуру».

Костя прочитал и вздохнул. «Дорогой Мелешко, — мысленно сказал он своему другу, — я жив остался, но очень жаль, что лишен возможности шибать немчуру. А у нас с тобой это ловко получалось».

— Шкатулочку-то ему исполнили? — спросил Жилиев.

— Невозможно ему отказать. Исполнили. Я писал портрет его девочки, — сказал старичок-художник.

— Нельзя ли мне ее посмотреть?

— Я закончил и сдал. Может отослали...

— Нет еще, — вмешался кто-то из художников. — Я сейчас внизу видел эту коробочку. Коровьим зубом еще только шлифуют.

Жилиев со старичком-художником спустились в нижний этаж. Там коробочку подвергали окончательной отделке — придавали лаковый блеск.

Костя взглянул на миниатюрный портрет девочки, исполненный искусной рукой палешанина, и оторопел.

На него весело и усмешливо смотрели знакомые, даже близкие сердцу глаза ребенка.

Он склонился ниже над коробочкой. Что-то близкое, родное, где-то он совсем-совсем недавно видел это лицо. Вот, кажется, только сейчас видел. Где же? Где? — мучительно спрашивал он себя. — Ба! Да ведь это Галька!.. Галя Совонде... — Это слово врезалось ему в память, и он часто называл девочку — Галя Совонде.

Из Палеха он поспешил в Наседкино, чтобы порадовать Галю: вот, мол, твоего отца нашел.

Придя в деревню, он незаметно для себя миновал свой дом и прошел на ферму. Ему казалось, что он уж очень давно не видел Таню. Хотелось взглянуть на нее хоть одну минутку, перемолвиться парой слов.

Доярки видели его теперь на ферме по нескольку раз в день.

— Константин Ермолаич, — сказала одна из них, — приходи работать к нам на ферму.

— А что?

— Поближе к Тане будешь.

— Ох ты, насмешница, — игриво сказал Костя.

Доярки часто слышали разговоры в теплушке заведующей фермы. Константин говорил о делах в бригаде, о своих затруднениях. Татьяна выслушивала, давала советы.

— Вторая бригада нынче перегонит первую, — переговаривались доярки.

— Надо думать, что перегонит.

— Татьяна — колхозница опытная, сметливая, она своим умом бригаду поставит...

— Да-да... А Костя старательный, упорный, он каждую ее инициативу выполнит, а потом втянется и сам будет смеяться.

Константин вошел в комнату, насквозь пропахшую русским маслом, присел к столу и взволнованно поведал Тане историю с портретом на коробочке.

— Надо итти, порадовать Гальку, — заключил он свой рассказ.

— Не надо, — остановила его Таня. — Она теперь чувствует себя не воспитанницей, а подлинной дочерью... А тут в детской головенке зашевелятся всякие сомнения, загадки и догадки... Напиши ему, что его дочурка находится у нас, — останется жив, приедет, возьмет ее с собой, а жив не будет, мы ее воспитаем, как дочь, и образование дадим.

Костя написал Мелешко большое душевное письмо, в нем были подробности ранения, пребывания в госпитале, возвращения домой... Затем следовало описание своей поездки в Палех, встречи с художниками, истории с Галей.

Это письмо он писал три вечера.

— Зачем ты столько пишешь? — удивилась Таня. — И как пошел, и как пришел, поздоровался, спросил и узнал... Нужно ли это?

— Нужно. Фронтовики любят длинные письма. «Есть чего почитать» — говорят они. — Мелешко его раз десять прочтает. Я знаю.

— Галя, чего ты умеешь рисовать?

— Избушку.

— Давай избушку.

«Это рисунок твоей дочки», — написал он на обороте и вложил в конверт.

Таня одела девочку, и они втроем отправились на улицу.

В почтовом отделении Таня приподняла девочку и сказала, что надо сделать. Галя опустила письмо, заглянула в щель и горько заплакала. Письмо, которое она несла всю дорогу в своей руке и гордилась им, исчезло.

Константин, успокаивая ее, рассказал, что письмо из ящика вынут, на лошади отвезут в город. Из города поезд умчит его на фронт. На фронте вручат письмо бойцу Мелешко. Он прочтает его и будет еще крепче бить врага, чтобы жизнь сделать легкой, а девочку Галю счастливой.

МИХ. КОЧНЕВ

МОЯ БОРОЗДА

Прошумел по роще
Ветер и затих.
Задушевней, проще
Разливайся, стих.

В памяти былое
Снова воскреси,
В детство золотое
Мысли унеси.

В поле наше деду,
Русый паренек,
Я носил к обеду
Каши чугунок.

Был мне в детстве другом
Дедушка седой,
Вел меня за плугом
Первой бороздой.

— Ремесло-то наше
Небольших наук:
Вожжи взял и пашешь,
И неплохо, друг.

Весело шагая,
Молвил борода:
— У тебя другая
Будет борозда.

Может и похуже,
Может потрудней,
Может и потужишь,
Погрустишь над ней.

И меня, однако,
Вспомнишь, сокол мил,
Вот, мол, дед-то Яков
Правду говорил.

Станет тяжеленько,
Это не беда,
Только б шла пряменько
Жизни борозда.

Я седьмой десяток
Доживаю вот,
А гляди, как гладко
Борозда идет —

Словно от березки
По шнурку провел.
Я своей бороздкой
С молодости шел.

И душа-то рада,
Друг мой дорогой,
Никакой не надо
Борозды другой.

Кем ты там ни станешь,
Жизнь-то велика,
Добрый ты помянешь
Словом старика.

Может обойдется
Со струей струя,
И с моей сольется
Борозда твоя.

Лошадь с гривой длинной.
Дед подходит к ней,
Веточкой полынной
Обмахнет слепней.

Отдохнуть под дроги
Ляжет на халат.
Из-под грядок ноги
Синие глядят.

И заснет он сладко.
Кожа, как в золе.
Трещины на пятках,
Словно на земле

Еду полем, еду
Нету и следа.
Затерялась деда
В поле борозда.

Только не пропала.
Гляну на поля,
Где пахал он, стала
Мягкая земля.

Хороши вы в мае,
Отчие края!
Будь же ты прямая,
Борозда моя.

СУЗДАЛЬ

Если спросите иного:
Что за город Суздаль, — друг?
Он такое скажет слово:
— Это там, где сады лук.

...Нерль и Колокша и Клязьма
Вьются змейками вдали,
По лугам зеленым вязью
Серебристой протекли.

Ветры звуки доносили
До далекого села,
Если в Суздале звонили
В тихий час колокола.

Или павших отпевали
Люди в Суздале седом.
Или князя поздравляли
В честь победы над врагом.

Битв минувших список длинный,
Кто был бит и где был бит,
На пергаменте старинном
Свято летопись хранит.

Враг в чужие лез пределы,
Все цветущее губил.
От своих соборов стрелы
Город грудью отводил.

Не согнулся он, не вымер
Под татарскою пятой.
— Поднимайся, брат Владимир! —
Звал он сродника на бой.

— Снаряжай лихое войско,
Полони поганых стан.
Видишь: вон у Юрьев-Польска
Села жжет татарский хан.

Слыли русскими по праву,
И в боях, к плечу плечом,
Добывали князю славу
Острым суздальским мечом.

В поле посвист, в поле топот,
И схлестнулись, посмотри:
Так не рубятся холопы,
Бьются так богатыри.

И дымилися овины,
Пахло кровью от земли.
И летели острым клином
По-над Клязьмой журавли.

Разбегался лагерь хана,
Плещет знамя о древко.
Из татарского аркана
Вырвать шею мелко.

А победа уж летела
От села и до села.
У врага в груди белела
Наша меткая стрела.

И не только славен луком
Этот русский городок,
Он учился и наукам,
Луч их светлый он сберег.

Зорко он смотрел в степные
Пограничные края.
И, как Новгород и Киев,
Он кормил детей с копыа.

...Как тобою не гордиться
Храма белая стена,
Как тебе не поклониться,
Дорогая старина.

На камнях седых видна мне
Славы вечная стезя.
И смотреть на эти камни,
Как на мертвые, нельзя.

НОЧЬ ПОД ИЗМАИЛОМ

— Два раза крепость штурмовали,
И штурмовать хотим опять,
И оба раза отступали,
С потерями катились вспять.

И надоело и постыло
На стены крепости глядеть.
Коли не взять нам Измаила,
Так зря здесь нечего сидеть.

Сидим, толкуем,
Строим планы,
Но все равно пойдем назад.
А в Измаиле у султана
Побольше нашего солдат.

Попробуй голым лбом солдата
Такие крепости разбей.
Напрасно маемся, ребята,
А Измаил не Хаджибей.

И там-то было нам несладко.
А здесь, как мухи, пропадем.

Так говорил солдат с оглядкой,
Суша портянки над огнем.

— А брось, Петро, у турка сила
Хоть велика, но с нами бог, —
Другой сказал, втыкая шило
В худой, растоптанный сапог.

— Война-то, брат, идет по плану,
Не торопись, Петро, дай срок,
Тряхнем турецкого султана,
Как почию я свой сапог.

Вот и пойдем тогда в атаку,
А там посмотрим — чья возьмет. —
Но и на шутку, ту, однако,
Не улыбнулся хмурый Петр.

— Потемкин, он составил план-то...
На то он есть и генерал...
А лучше бы он провианта
Хорошего солдатам дал.

— Он сам-то сыт, а мы, как мыши,
Сухарь, что камешек, грызи...
— Смотри, Петро, а вдруг услышит... —
Сапожник шилом погрозил.

А ветер дул, звенел свирелью
И к ним в землянку залетал.
Укрытый старенькой шинелью,
В углу больной солдат лежал.

И Петр к нему подсел поближе.
— Не хочешь ли, Иван, поесть?
Не хочешь, слаб ты, парень, вижу,
Какая чортова болезнь...

И вдруг во время разговора,
Вошел к солдатам генерал,
Солдаты встали, даже хворый
Солдат — и тот, качаясь, встал.

— Да здесь у вас холодновато, —
Сказал солдатам генерал
И сразу хворого солдата,
Как лекарь, за руку он взял:

— Зачем вставал?
...Лежать бы надо...
А лучше шел бы в лазарет...
Вас приучили здесь к парадам,
В парадах этих толку нет.

В сухой руке у генерала
Перчатка смятая и трость.
И взором пристальным сначала
Солдат окинул новый гость.

Волос седеющие пряди,
И стариковское лицо,
Улыбка теплая во взгляде
С лукавой русской хитрецей.

— Ну, как, орлы, найдется сила
У турка крепость силой взять?
Или уйти от Измаила
К себе домой на печку спать?

И Петр сказал:
— Врага такого
Не сломишь силой никакой:
Пойдем на приступ, — турок снова
Отбросит нас... пора домой.

Не выбить турка, вражью душу,
Он за стеной сидит, злодей.
— Неверно ты сказал, Петруша, —
Не соглашался с ним Авдей.

— А я все думаю на свете
Таких не значится преград.
Где только ходит рысь да ветер,
Там проберется наш солдат.

Домой вертаться толку мало,
Захают дома бабы нас... —
И на лице у генерала
Улыбка мягко расплылась.

— Так Измаил-то крепок, братцы,
В нем слабых мест не отыскать,
А все-таки придется драться,
Придется грудью крепость брать.

Крепки ворота Измаила,
Но их откроет русский штык.
У нас и хитрость есть, и сила,
И отступать я не привык.

И генерал покинул вскоре,
Прошел в землянку егерей.
— Кто это был?..
— То сам Суворов, —
Ответил с гордостью Авдей.

* * *

Тьма степь дунайскую покрыла,
Но сном тревожным лагерь спит.
А в стороне от Измаила
Работа дружная кипит.

Копают рвы, валы возводят,
Сюда сошлись десятки рот.
И на валы солдаты входят,
Вторая крепость здесь растет.

Покуда поле тьмой объято,
Чтоб крепость враг не замечал,
Суворов каждого солдата
Искусству штурма обучал —

Как стены брать, как брать ворота,
Как подыматься на валы.
Шла за Суворовым пехота,
А он кричал: «За мной, орлы!»

— Штыки вперед!
— На приступ!
— Прямо!
— Да не зевай, быстрее бег.
Плетни бросайте через ямы,
Лети, ломи через засек!

А зря бесчинствовать не надо,
Взял, победил и поднял флаг
Сдается враг — ему пощада,
Великодушья верный знак.

Хоть тяжело порой в ученье
И горьковато, не таю,
Зато большое облегченье
Дает ученье в бою.

...Декабрь ветрами выл уныло.
Под вопль дождя и ветра шум
У стен высоких Измаила
Бойска готовились на штурм.

ГОСТЬ

Буря воед под окошком,
Заметая в поле след,
У дверей скребется кошка,
За лучиной дремлет дед.

Керосину в лампе нету,
В солонице соли нет.
Вырезанный из газеты
Ленинский висит портрет.

Стукнул кто-то, показалось.
Слышны мерзлые шаги.
— Ну и буря разыгралась,
Валит снег, не видно зги.

Говорит чуть-чуть картаво
Незнакомый человек:
— Так замерзнуть можно, право, —
С шапки стряхивает снег.

— Дед, здорово.
— Вы откуда?

— Недалеко от села
Нас застала в поле вьюга,
Путь-дорогу замела.

Из Москвы мы вот с шофером,
Да такие холода —
На ходу у нас в моторе
Превратилась в лед вода.

— Закусить бы малость надо, —
Гости деду напрямик.

— Чем богаты, тем и рады, —
Отвечает им старик.

— Как живете? Как доходы?
Не многожек ли налог?

Хороши ли были всходы?
Что невесел паренек?

— С зыбки парня заморили. —
Отвечал угрюмый дед. —
На войне отца убили,
Да и матери-то нет.

Ниоткуда нет подмоги,
Ждем вот Ленинский декрет,
Сам я стар — не ходят ноги,
В школу б парня — шубы нет.

Одолела нас разруха,
Хворь в деревне завелась, —
И старик закашлял глухо,
— Разве Ленину до нас?

Он и рад бы на подмогу
Уделить нам лишний грош,
Да ведь нас-то больно много,
Год считай — не перечесть.

Он-то ведь не троерукий,
Всякий просит — кто о чем.
— Я в Москве о вашем внуке
Потолкую с Ильичем.

— Да вы нешто с ним знакомы? —
Дед ответом удивлен:
— Я работник Совнаркома,
Там работает и он.

— Вместе с вами...
— Да, мы рядом.
— Вот скажите Ильичу,
Что помочь мне малость надо,
Внука подучить хочу.

Утром встали гости рано,
Заплатили за ночлег,
После выюжного бурана
Серебрился в поле снег.

Встал и Васька. От портрета
Оторвать не может глаз.
Шепчет деду:

— Ленин это,
Ленин ночевал у нас.

У ЛЕНИНА

I

Мертвого дедушку
Бабы обмыли.
В избу позвали
Читать дьячка.
Руки — на грудь,
На глаза положили
Медные два пяточка.

— Дедушка, дедушка,
Встань да лучину
Будем щепать,
Подымись со стола...
Васька заплакал.
Соседка холстину
Саван сшивать принесла.

В лапти обули,
В гроб положили
И на погост понесли,
Крышку закрыли,
Гвоздями забили,
Бросили в яму
По горсти земля.

II

Хмурое, серое
Зимнее небо.
Васька один
В молчаливой избе,
Съел он последнюю
Корочку хлеба.
Жалобно воет
Ветер в трубе.

Плачет, свистит,
Заливаясь, метелица,
Голые сучья
С мороза скрипят.
Снегом пушистым
Метелица стелется.
Дымом — сугробы дымят.

Внуку в наследство
От деда осталось:
Трубка из корня,
Кремень да кiset.
Жизнь, как былинка,
По ветру качалась,
Вдоволь отведал
Горюшка дед.

Васька заплакал,
Встал на колени,
Слезы ручьями из глаз:
— Кто мне поможет?
Дяденька Ленин,
К нам ты заехал
Еще хоть бы раз.

Ленину горьких
Не выслушать жалоб.
Соколом, просьба,
К нему долети.
Васькино горе
В Москву добежало бы,
Только дороги
Ему не найти.

III

Может быть, вправду,
И не было этого,
Васька наплакался,
Сидя уснул.
Вдруг ему снится,
Что Ленин с портрета,
Просьбу услышав, кивнул

Васька проснулся,
На улице тёмка,
Сунул портрет
Под рубашку на грудь,
Дверцу захлопнул,
С холщевой котомкой
В дедовской шапке
Отправился в путь.

В поле метель
Над проселком свистела.
Провод звенел на столбе.
Дверка, послушная
Ветру, скрипела,
Словно кто плакал в избе.

IV

Васька упрямо шагал ненапрасно
По снежным дорогам страны.
Он очутился на площади Красной
Против кремлевской стены.

Солнце сияло.
Искрясь, сверкали
Желтых винтовок штыки.
Те, кто пониже,
На дыпочки встали,
В лютый мороз
Развязав башлыки.

Падали на снег
Длинные тени.
Васька увидел —
Стоит вдалеке,
Там, на трибуне
Возвышенной Ленин
С шапкой-ушанкой в руке.

Мал, но до сердца
Дойдут его речи...
Встали солдаты
Стеной впереди.
— Ну-ка, парнишка,
Взбирайся на плечи,
Видишь вон Ленин,
К трибуне гляди.

Был у меня вот
Такой же сынишка,
Раньше в избе вечером
Вслух мне читал он
Хорошие книжки.
Был, да вот умер,
Хворал сынишком. —

Грустно солдату
Высокому стало,
Вытер он варежкой
Теплой глаза
И не заметил —
С ресницы упала
Ваське на шапку слеза.

Поднял легонько
Ваську на плечи
Рослый и русский мужик.
Сотни штыков
Замерцали, как свечи,
Держится Васька за штык.

Маленький самый,
Теперь он всех выше.
Гаркнула площадь: — Ура.
Так громыхнула —
Посыпался с крыши
Снег, что обильно
Выпал вчера.

— Ленин, Ленин,
Он был у нас в хате. —
Крикнул от радости
Вдруг мальчуган.
— С дедушкой вместе
Он спал на полатах.
В поле в ту ночь
Разыгрался буран...

Рядом солдат
Постучал каблуками
И, улыбаясь, назад посмотрел,
Дунул в ладони,
Пошаркал руками:
— Ох, ну и врешь ты, пострел!

Солдат порасправил
Могучие плечи,
Шинель подтянул он
Потуже ремнем:
— Прощай, сынок,
До скорой встречи
А хочешь, с нами
На фронт катнем?

Только, парнище,
Не падай здесь духом,
Годик за годиком
Там подрастешь,
Только вот, чорт побери, голодуха,
Только б не съела
Тифозная вошь.

V

Где сироте проскитаться холодную зиму?
С площади стал расходиться народ.
Ленин походкою твердою мимо
Площадью Красной идет.

— Мальчик, замерзнешь, сидел бы ты дома.
Видишь шубейку-то как задышал.
Ленину вдруг показалось знакомым
В крупных веснушках лицо малыша.

— Вася, дружище? Явился к нам в гости?
Как поживает дедушка твой?
— Дедушка умер, зарыт на погосте. —
Мальчик сказал и поник головой.

Ленин припомнил избунку в деревне.
— Жалко. Хороший был дед.
Умер, не дожил до светлого времени. —
Ваську провел за собой в кабинет.

Нежно потрогал он рыжие пряди
Васькиных длинных волос.
Чаю стакан, карандаш и тетради
Ленин из шкафа принес.

— Надо учиться, вся сила в науке,
Надо учиться на благо страны.
Власти советской ученые руки,
Умные головы очень нужны.

Много еще предстоит нам работы,
Скоро покончим с разрухой, войной,
Пусть заводы, свои самолеты
В небо взвьем над страной.

Поле машиною железною вспашем.
Школы построим в каждом селе.

Много богатства в республике нашей
Скрыто в глубокой земле.

Враг нас не сломит, если
Сталью оденем страну.... —
Васька пригрелся на кожаном кресле,
Слушал и скоро заснул.

Спал он усталый крепко и сладко,
Снились села своего огоньки,
Но карандаш и большую тетрадку
Не уронил и во сне из руки.

Снится горячее звонкое лето.
Вырос и Васька, шагает селом.
...Рядом в тиши кабинета
Ленин писал за столом.

ПОДАРОК

Днем Артемьевна возила
Со двора в поля навоз.
В зимний вечер куртку шила,
Волновалась до слез.
Кто-то в этой куртке новой
Выйдет смело в смертный бой?
Может вовсе незнакомый,
Может сын ее родной.

И чужого, как родного,
Будет куртка согревать,
Подобрать такое слово
Золотое хочет мать,

Чтоб до фронта долетело
В теплых строчках письмаца,
Чтоб, как солнце, обогрело
Незнакомого бойца.

И проворною иглою
Стежку ровную ведет.
Где-то там за снежной мглою
Бой решительный идет.

Шьет Артемьевна проворно,
Дум волнующих полна,
Убивать фашистов черных
Помогает и она.

Бой гремит жесток и жарок,
И бежит, и льется кровь,
И не дорог так подарок,
Как народная любовь.

Дорога бойцу забота
О воителе, о нем.
Он сильней из пулемета
Обожжет врага огнем

От кого-то дорогого,
Незнакомому ему,
Прочитав родное слово,
Он узнает по письму,

От улыбки хорошея,
Из какого из села,
Почта в тесную траншею
К ним подарок принесла.

До зари сидела шила.
Бойко бегала игла.
Утром тесто замесила,
Белых булок напекла.

Шапку новую ушанку
Положила, а потом
Меда липового банку
И бутылочку с вином.

Выводя коряво строчки,
Написала поутру:
«Крепче, милые сыночки,
Колотите немчуру.

Ешьте, пейте на здоровье
И смелей идите в бой!
Пусть заплатит враг кровью
За насилие, за разбой!

В пояс кланяюсь вам низко
И желаю вам побед.
Жду душевно встречу близкой,
Всем, родные, мой привет».

ПОЧЕМУ ТЫ ТОСКУЕШЬ О ЮГЕ

Почему ты тоскуешь о юге,
О зеленой его красоте?
Ты послушай — по всей по округе
Заиграла на скрипках метель.

То не плач заунывный, а трели,
Песни русские — русской зимы.
Под такие же песни метели
И родились и выросли мы.

Кони бесятся в длинном обозе,
Испугались волчьих свечей.
И румянее мы на морозе
Расцветаем, и кровь горячей.

Пусть зимой ты холодной родилась,
Но в погожий и ведряный день,
И в глазах у тебя отразилась
Наших зимних небес голубень.

После бури летучей набега
Расстилалась снегов пелена.
И взята не от этого ль снега
И лица твоего белизна?

Парусину мы ткали матросам,
Льном прославлен наш край издавна,
И твои заплетенные косы
Не из нашего ль русского льна?

Почему ты горюешь о юге,
О зеленой его красоте?
Ты послушай — по всей по округе
Заиграла на скрипках метель.

НОЧЬЮ

Не дремлетя, не спится.
Перо огня дрожит.
Передо мной страница
Открытая лежит.

Не с веток опадает
Багряная листва, —
То я письму вверяю
И мысли и слова.

Нас никакие дали
С тобой не разлучат,
Размолвки, что бывали,
Забыты мной сейчас.

Из дальней из разлуки
В твои глаза взгляну,
Ласкающие руки
Навстречу протяну.

Мне хочется склониться,
Поцеловать уста.
Как белая страница,
Душа твоя чиста.

Разлука сердце гложет,
Ты обо мне грустишь,
Ты этой ночью тоже,
Быть может, не поспишь.

Увидишь за метелью
Затерянный мой след.
На стенке над постелью
С тобою мой портрет.

Сейчас по междустрочью
Бежит перо, шурша.
Январской этой ночью
С тобой моя душа.

В ДОРОГЕ

Встает луна над логом,
И тени, как стога,
В кусты ползет дорога,
По сторонам снега.

Мерцают звезды скупю,
А тень бежит двойник.

Бараньего тулупа
Приподнят воротник.

В пустых полях ни звука.
Куда мне сердце деть?
И песню о разлуке
Мне хочется запеть.

Подхватят песню ветры
И понесут, звеня.
За сотни километров
Услышишь ты меня.

Сейчас в твоей квартире
Покой и тишина,
В огромном зимнем мире
Такая ты одна.

Пусть ветер постучится
В окошко в тишине —
И может сон приснится
Хороший обо мне.

Что встретились мы снова
На вешнем берегу,
Что я на сердце слово
Навеки берегу,

Что под военной ношей
Шагать не тяжело мне.
В разлуке ты хорошей
Мне кажешься вдвойне.

Сейчас в твоей квартире
Покой и тишина.
В огромном зимнем мире
Такая ты одна.

М. БЕЛОБЕРЕЗОВ

КАРАСИ

Река опоясывала село светлой извилистой лентой. Вытекая из дубравы, она причудливо петляла. Низкие берега ее поросли высокими камышами. В них с весны до поздней осени ютились дикие утки, вальдшнепы, гуси. Около самого села река была широкая, но не глубокая, и мальчишки обычно переходили через нее вброд, положив штанишки и рубашки на белесые головы, когда шли на другой берег, под старые развесистые ивы, ловить карасей. В тихих, подернутых тиной заводях водились в изобилии крупные караси, широкие, как лапти. Во время нереста они гуляли стаями, время от времени выскакивая из воды. Караси мирно жили в стоячей воде, лакомясь водорослями и водяными червячками. И в тихие вечера с берега было слышно, как они пощелкивают на заводях, высывая из зеленой тины тупые носы.

Гришка Зубцов и Васютка Ивушкин целые дни проводили на реке, ловили карасей корзинками. По бадье приносили они домой золотистой спокойной рыбы. Никто из ребят лучше их не знал рыбные места, никто больше их не налавливал рыбы. Они знали, под какой пływучей кочей приютился карась, под какой отсиживается налим. Легко и смело прыгали они от одной зыбучей поросшей осокой кочки на другую, опускали корзину, ухарски топали по траве, плескались, нередко окунаясь с головой. Рывком выхватывали корзину из воды. На дне корзины трепетался золотистый карась, а иногда лежал спокойно, чуть двигая плавниками. Дружно жили Гришутка с Васюткой. В школе сидели за одной партой, в драках друг за друга стояли горой, по грибы и по ягоды вместе ходили и даже нередко случалось — гостинцы, подаренные родителями, делили по-братски... Бывали между ними и размолвки, но не надолго. Вечером поссорятся, а утром бежит или Васька к Гришке или Гришка к Ваське...

Вот и сегодня ни свет, ни заря за Гришкой забежал Васька, в картузе с переломленным лаковым козырьком. Гришка еще спал, а мать пекла на сковородке сдобные ватрушки.

— Пойдем за карасями! — тормошил Васька приятеля, стаскивая с него одеяло.

Гришка поспешно поднялся, наскоро умылся, взял, обжигая пальцы, прямо со сковородки дымящуюся ватрушку, положил ее, как чайное блюдце, на ладонь, кусая на ходу, вышел вслед за Васькой из избы.

Не успели они выйти на крыльцо, Гришка отломил половину горячей, покрытой парным творогом, с желтоватыми пеночками, ватрушки, подал товарищу.

— Ешь, хорошая...

Товарищ вынул из кармана горбатый пирог, похожий на окуня.

— Попробуй: с грибами и с гречневой кашей, с жареным луком...

Так подошли два маленьких друга к реке, неся бадью и корзинку.

— Как ты думаешь, Гришка, — придут к нам немцы или не придут?

— По-моему, не придут, — ответил Гришка.

— А если на парашюте выбросятся?

— Тогда могут прийти...

— А мы куда денемся?..

— Мы будем их лупить.

С этими словами друзья, засучив штанишки, полезли в воду... Едва успели заставить корзинку, Васька почувствовал — что-то холодное ударило в ногу, потом сильно стукнулось в дно корзинки, едва не вырвав ее из рук, и завозилось в воде, плеснув в лица рыболовам.

— Тащи скорей! — закричал Гришка.

Вытащили корзинку. На дне ее возилась, хлеща хвостом по стенкам и высоко подпрыгивая, матерая щука с широкой темнозеленой пятнистой спиной, с тупым носом и широкой пастью, с острыми и частыми зубами.

— Щука, щука! — закричал от радости Васька.

— Эх, да какая! — кричал его друг...

И они, опустив дно корзины в воду, чтобы не выскочила щука, поспешно направились к берегу.

Радостные и ликующие, рыболовы бежали домой. Гришка тащил корзинку, а Васька, положив на плечи щуку, выгнувшуюся толстой дугой, торжественно шагал впереди.

Последние дни почти все разговоры в селе были о нем-

цах, о том, как бы они не появились в село. Бой шел за лесом на восточном берегу небольшой речки Леснушки. И немцы могли появиться в селе, казалось бы, только со стороны реки. Но пришли они с противоположной стороны и притом неожиданно.

— Когда Васька с Гришкой подошли к крыльцу, у них глаза на лоб полезли от удивления. На ступеньках высокой крылечной лестницы сидело около десятка немцев, другие толпились около ворот.

Немецкие солдаты окружили Ваську, рассматривая его, словно волчонка. Васька сначала смертельно перепугался, а потом собрался с духом и держал себя с достоинством. На его плечах, как коромысло, лежала щука, которую он крепко придерживал обеими руками.

— Отдай! — приказал немец, прикрикнув на мальчугана.

Васька молчал, еще крепче вцепившись в щучьи жабры.

— Упрямый, — презрительно сказал другой немец и ударил липким щучьим хвостом Ваську по щеке. Васька не заплакал, и как бы сами собой вырвались у него слова:

— А ты какой?

Солдаты поняли слова мальчика. Кривоногий немец схватил щуку за хвост обеими руками и рывком дернул к себе, но рыболов не отдал щуки, он крепко держался за жабры и вместе со щукой подался вперед. Немец с носом, как у ястреба, схватил Ваську за ноги и потащил к себе...

Ваську вздернули на воздух и тащили в разные стороны, пытаясь отнять у него щуку. Васька не отдавал... Но вот кривоногий ударил его стволом автомата по руке, и щука выпала из васькиных рук. Он заплакал.

Заплакал не столько от острой боли, сколько от гнева и ненависти, в эту минуту переполнивших его сердце. Он львенком кинулся на немца и впился зубами в его палец. Кривоногий, с искаженным лицом, пытался оттолкнуть от себя словно приросшего мальчишку и не смог этого сделать. Кровь сочилась из укушенного пальца. Наконец Ваську оттащили солдаты и, оцепив его плотным кольцом, на минуту затихли; с тупым изумлением на лицах глядели они на смелого паренька... А Васька, переполненный неребьяческой скорбью, прямо смотрел в лица солдатам. Мокрая рубашонка, изорванная в клочья, съехала с детских плеч...

— Пустите, жрите, может быть, подавитесь, лопнете, — отчеканил Васька и хотел было вырваться... Дерзкие слова взбудоражили солдат.

— Хлюст! — крикнул один.

— Пионер, — сказал другой...

Кривоногий взял щуку, широко раскрыл ее мертвый рот и острыми щучьими зубами зажал горло Ваське.

Васька захрипел и побелел. И как раз в это время от ворот, где стоял Гришка, в солдат полетел тяжелый камень и угодил в кривоногого... Он завертелся, как волчок, на месте, зажав ладонью глаз, что-то угрожающе выкрикивая. Гришка юркнул в открытую калитку, несколько солдат бросилось за ним на двор. Васька, пользуясь суматохой, улизнул домой.

Через час из окна он увидел: задумчивый товарищ его висит на березе под окном своего дома.

Болью и горечью наполнилось мальчишеское сердце... Под березой, перед солдатами, стояла гришкина мать, о чем-то слезно их умоляя. Два дня немцы не давали снимать труп повешенного, два дня мать смотрела из окна на своего первенца-сына, два дня смотрел и плакал Васька. И наконец, он решил: ночью, когда утомятся солдаты, тайно снять труп товарища.

Поздно вечером, когда было тихо, он перепрыгнул через плетень и, озираясь по сторонам, подошел к месту казни. На селе стояла тревожная тишина. Луна зашла в густое облачко. Васька стал проворно взбираться на дерево.

Только он коснулся туго натянутой веревки, как чья-то рука схватила его за ногу и стащила на землю.

— Тот самый! — услышал Васька знакомый голос.

Перед ним, словно из-под земли выросли, стояли два солдата. От них разило спиртом и луком.

— На ту же веревку, — кивнул солдат.

— Нет, он нужен, — ответил другой... — Он рыбу ловит. Хороши щуки... Закуска... Иди за рыбой, сейчас иди... Нужна закуска... Умеешь ловить рыбу?

— Умею!

— Принесешь рыбу?

— Принесу!

— Обманешь?

— Не обману

Васька думал, что солдаты поверят его словам и отпустят домой, и тогда он уже, конечно, никакой рыбы им не принесет и второй раз в их когтистые лапы не дастся. Но солдаты ему не поверили...

— Мы с тобой пойдем!

Взяв корзинку, Васька повел солдат на речку, но не к той заводи, в которой водилось много карасей и где они с Гришкой поймали большую щуку, а к «Лягушиной Мызе», так называлась болотистая зыбь за селом.

Хитро действовал Васька... Трясина, поросшая жидкими водорослями, была окружена семьей пловучих кочек... Васька, не раздеваясь, — в штанах и рубашке, полез в воду... Он мастерски заставлял корзину между кочами, топал, пугал по-обычному ногами, но, к досаде прожорливых солдат, каждый раз вынимал корзину пустою... Два маленьких налима выбросил он на берег. Юркие рыбки затерялись в траве, и, как ни ползали немцы по земле, не могли их отыскать.

Васька тем временем перебирался с кочи на кочу, все дальше уходил от берега и приближался к зыби... Мягкие кочи-плавуны ходили под ним, как огромные зеленые поплавки.

Взмахивая руками, отважный рыболов умело балансировал, чтобы не сорваться в цепкую пучину, которая засосет, не выпустит... Солдаты по берегу двигались за Васькой. — Хочет обмануть, удрать, — решили они.

— Назад, застрелю! — пригрозил солдат, потрясая автоматом...

— Здесь рыбы больше! — откликнулся Васька, а сам уходил все дальше и дальше.

Теперь он был на почтительном расстоянии от солдат, достигаемый для пули, но недостижимый для рук.

Обманчивы речные и болотные зыби, покрытые сверху зеленым ковром осоки и камыша.

Немцам надоело ожидать.

— Сюда! — скомандовал солдат, но в это время Васька вытащил из корзины крупного карася, поблескивавшего при луне золотистой чешуей. Держа за жабры, высоко поднял над головой.

— Вот какой!

Немцы обрадовались. Оба вместе крикнули:

— Давай!

Васька размахнулся, делая вид, что собирается со всеми силами, бросил карася, но карась упал на зыбучую кочу. Было слышно, как он затрепыхался, качнувшись высокою осоку...

— Дрянная мальчишка, — злились немцы, — какую рыбу упустил.

— Да не упустил, — ее можно достать, — оправдывался рыболов. — С кочи карась не уплывет, вот наловлю побольше, всех соберу, перекидаю на берег. Торопитесь — тогда сами доставайте. До кочи недалеко, тут не утонете, мелко: по пазушки не будет...

Но солдаты не хотели лезть в воду. Между тем в корзине затрепыхал другой карась, еще больше первого.

— Держите!

Карась блеснул чешуей в воздухе и тоже упал не на берег, а на ту же зеленую кочу. Немцы выходили из себя, ругали Ваську, а он спокойно делал свое дело.

За вторым карасем упал на кочу третий, потом четвертый, а маленькую молявку Васька нарочно выкинул на берег. Это еще больше обозлило немцев...

— Эй, ты... не дури! — увещевали они рыбакова.

Недосягаемые караси лежали на коче. А в избе, что стояла на высоком берегу реки, ждала немцев на столе водка, и нехватало только свежей жареной рыбы.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения немцев, явился белый, серебристый язь, который совсем неожиданно попал Ваське в корзинку. Васька и его выбросил на кочу, так тонко рассчитав свой бросок, что язь упал не на середину кочи, а на самый край, в осоку, заплескался в траве, почувствовав воду, и, звонко плеснув хвостом, ушел вглубь, качнув волной дремавшие водоросли.

...Немцам жалко стало язя. Боясь, что и караси уплывут, немцы разделись и осторожно с одной кочки на другую пробирались к пловучему островку, куда Васька бросал карасей... До карасей осталось рукой подать — еще перепрыгнуть две кочи, но вдруг коча под немцами заходила ходуном и нырнула под воду. Солдаты, взмахнув руками, прыгнули в разные стороны и сразу по горло очутились в стоячей зеленоватой воде. Неумолимая трясина заглатывала их в свою пасть... Они барахтались в тине. Пенные пузыри поднимались с илистого дна, грязь липла к телу, как черная патока.

Васька стоял на краю и смотрел на тонущих солдат...

Тщетными были их попытки выкарабкаться. Они фыркали, хватались за водоросли, порой с головой исчезали под зеленоватой водой, махали Ваське, зывали о помощи, а он стоял и глядел на них с торжествующим чувством мстителя, удачно исполнившего свой замысел. Но вдруг его радость померкла... Один из солдат близко подплыл к коче, на которой стоял Васька, и схватился руками за камыши. Товарищ плыл следом за ним...

Подплыв к коче, он высунул из воды руку, полагая, что Васька возьмет ее, но Васька подался назад, не протянув руки... И все-таки немец, что был поздровей, выбрался на кочу, тяжело пыхтя, весь облепленный тиной.

«Теперь утопят!» — Васька крепко прикусил губу, а в это время второй немец, подплывший к коче, бессильно высовывал руки из воды.

Решение возникло молниеносно: когда первый немец наклонился и подал руку своему приятелю, Васька изо всех сил

толкнул его обеими руками в спину. Оба немца очутились в тине...

Один из них скоро пошел на дно, а через несколько минут из воды высунулась, хватая воздух, рука второго немца, но скоро и она навсегда пропала под водой. Выскочили на поверхность пузыри, а потом зеленая зыбь успокоилась...

А Васька к утру был уже далеко от села, он шел на восток, к синеющей вдали зубчатой гряде леса, откуда доносилось глухое рокотание боя.

ПОД СТАРОЙ ЯБЛОНЕЙ

Дедушка Петр Козодоев, опираясь на подожок, шел вдоль улицы. Когда он поравнялся с колхозной конторой, вдруг, скрипя морозными ступенями, с крыльца выбежал Кузьма Барсов, председатель колхоза.

— Петр Игнатьич, — обратился он к Козодоеву, — слышишь, как за падью бухают? Как бы и к нам не пожаловали...

— Экошь мне, пусть бухают, меня не тронут...

— Да, ты послушай, как лупят... индо земля дрожит.

— А нешто я глухой, сам не слышу? — спокойно ответил старик, думая о чем-то своем.

— Утекать, дедушка, надо. Они и со стариками не считаются...

— Утекать... — проговорил старик, — стало быть со своей-то печи убираться на старости лет. Кому надо, пусть убираются... у кого ноги помоложе, тому прямой расчет — утекать. А я немцу, что есть, что нет, мне уж вакуироваться-то под березу надо, к старухе под бок.

С этими словами они разошлись. Барсов торопливо, увязая выше колен в глубоком снегу, пошагал поперек улицы к своему пятистенному, под тесовой крышей дому.

Вечером семья Кузьмы Барсова вместе с другими выехала из села. Сам Кузьма остался в селе, а под утро с группой мужиков ушел в лес.

Всю ночь безумствовал обжигающий северный ветер, крутя снежные вихри. За лесом, когда порывы бури утихали и небо прояснялось, играли огневые вспышки рвущихся снарядов.

В эту ночь дедушке Петру не спалось. Он лежал на печи, зажмурив глаза, прислушивался к унылому завыванию ветра в трубе и что-то шептал.

Потом, стариковски побряхтывая, он слез с печи, накинул на плечи тяжелый тулуп и, скрипнув дверью, пошел поглядеть, что на улице делается.

— Эко, она взялась, — говорил он, подходя к двери сада... — метёт и метёт, норовит на воздух человека поднять... тулуп с плеч тащит... — и дедушка Петр повернулся к ветру спиной.

Неистовый ветер бешено метался по саду, скрипя сучьями.

Послушная ветру дверца то открывалась, то закрывалась, тревожно поскрипывая. Старая яблоня стояла поодаль от своих сверстниц, посреди молодой поросли, как бабушка среди веселых внучат. Чудесные на ней родились яблоки: крупные, душистые, под осень желтые, как воск, и сладкие, как сахар. До нового урожая хранились они в ящиках, аккуратно переложенные сеном, наполняя погреб и избу приятным ароматом.

Разгулявшийся ветер отворачивал полы тулупа, шумел соломенной кровлей, насвистывал в худой кувшинчик, неведомо зачем повешенный верх дном на кол.

— Эко, она воеет... разрушит антоповку, — рассуждал старик, отворяя дверцы.

Дедушка Петр снял с кола пучок мочала и, не торопясь, стал пробираться к старой яблоне.

А ветер, словно недовольный тем, что хозяин вышел в сад, еще яростнее налетал на деревья, раскачивая их темные силуэты, шуршал неопавшими осенью скрюченными листьями на молодых побегах.

Старая яблоня жалостно поскрипывала трухлявым дуплом.

— Остарели мы с тобой, сударка моя, — сказал дед, когда долез до яблони. Весной он обернул ствол яблони берестой, а поверх крепко обкрутил ее мочалом и веревками, чтобы ветром не разломило дерево.

Старик поправил бересту, туго обвязал ее мочалом, подставил подпорки под старые сучья, собрался было уходить и вдруг увидел: около молодых деревьев снег прошит свежей заячьей стежкой.

— О, да тут косою завтракал. Ну постой, попадешься ты мне — угощу я катаной закуской. — И старик пожалел, что не захватил с собой бердана.

Нижние сучья яблони были обглоданы, на них остались следы мелких заячьих зубов.

— А, косою должно быть на задних лапах стоял, выбирал потоньше, послаще.

Порывы ветра утихли. Из-за тучи выглянула луна. Дед

глянул на сарай и увидел около частокола настороженно поднятые заячьи уши.

Заяц притаился. Он, приподнявшись на задние лапы, чутко прислушиваясь, детской куклой застыл на сугробе. Это был нагулянный старый беляк, белый, как январский снег.

— Вот так бубен, — восхищался дед, любуясь зайцем.

Заяц красиво сидел и смело смотрел на деда, поводя высоко поднятыми ушами.

— Что глядишь? Или опять в сад собираешься?..

Старик хлопнул в ладоши, и заяц, как ужаленный, сошел с сугроба и в два прыжка очутился за огородом.

Рано утром сноха Агафья загремела чугунами и ухватями, а дед понес в бадье пойло овцам. Только он отворил дверь, из сеней навстречу ему, гремя подмороженными подметками, вперлись немецкие солдаты. Впереди шел низколобый здоровяк с круглыми, как у совы, глазами. Он толкнул старика с порога обратно в избу.

— Да ты не пынай, дай овец напою, — держась за скобу, говорил дед.

— Партизан давай, русский солдат давай, — кричал на старика совоглазый солдат и опять толкнул его. Старик покачнулся, плеснув из бадьи на пол.

— Какой же ты солдат, коли на старика руку поднимаешь. — Совоглазый не понял слов и уже более мягко спросил:

— Где партизаны? Сказывай!

— Нечего мне сказывать. Ловкий — найди сам, — ответил дед, поднял с пола бадью и понес овцам.

Агафья ня жива, ни мертва стояла у чела и с перепугу не замечала, что ставит в печку пустой горшок.

Дед вернулся со двора, не обращая внимания на немцев, прошел за перегородку. Агафья припала губами к самому уху и шепнула:

— Не перечь ты им. Пусть, что хотят, то и делают. Их верх.

— Чей верх — еще не видно. А ты не бойсь: не ты к ним пришла, а они к тебе... — ответил старик и принялся крошить вчерашнюю холодную картошку.

Низколобый солдат заглянул за перегородку, вырвал у деда чугуна с картошкой. Солдат повел обмороженным, красным, как спелая помидора, носом:

— Яблоки есть?

— Есть, да не про твою честь, — проворчал дед за перегородкой.

Низколобый начал шарить по избе. Ничего не найдя, опять обратился к старику:

— Где яблоки?

— Экий ты блудливый, как кот, а солдатом называешься. У меня был кот блудливый, так я его на перекладе повесил. Понимаешь, повесил стало быть... — ответил дед.

— Да не груби ты им... — уговаривала Агафья свекра.

— Я не грублю. Я говорю, что за блуд вешают... А яблоки под полом, там, — и старик указал пальцем в пол. — Бери, коли твоя сила. А из своих рук я тебе ни яблока не дам.

Солдат, приоткрыв лазею, чиркнул спичку, спустился под пол. Два солдата, широко расставив ноги, стояли над лазеей. Из лазей показалось одутловатое лицо солдата, в зубах он держал яблоко.

— Нашел, нашел, — прокричал немец... — принимайте!

Скоро на полу стояли три ящика, доверху наполненные крупными антоновскими яблоками.

— Весь наш, — закричал низколобый и сел верхом на ящик.

Раскупорив ящик, он сбросил на пол соломенную прокладку. Изба наполнилась запахом антоновки. Яблоки лежали аккуратно уложенные одно к одному, круглые, как бильярдные шары.

— Все съем! — закричал низколобый и жадно распротер руки над ящиком, словно кто собирался отнять у него яблоки...

— Понос прошибет со всего-то... — заметил дед.

А немцы уже торопливо совали яблоки в рюкзаки и карманы, давясь, пожирая яблоко за яблоком.

Дедушка Петр сидел на лавке и, молча, с нескрываемой ненавистью в глазах, наблюдал за солдатами. Рюкзаки и карманы наполнились, а яблок в ящике осталось больше половины. Низколобый на мгновение задумался, соображая, во что бы ему положить остальные яблоки. На голбце стоял мешок с рожью. На этом мешке остановились его глаза. Он поспешно развязал мешок, опрокинул, взяв за уголки, высыпал рожь на пол.

— Эдак вы с нами обходитесь? — спросил укоризненно дед. — А ведь я рожь-то пахал, сеял, вот они мозоли-то и сейчас не сошли... — и он показал солдату жилистые руки с длинными пальцами. Солдат поглядел на старческие руки и глупо засмеялся.

— Коли на такие руки смеешься, человек ты, стало быть, зряшной, — заключил Петр.

А солдат, не обращая внимания на эти слова, зубами придерживал край мешка и пригоршнями ссыпал в него яблоки. Яблоки ударились друг о друга. Болью обдало старческое сердце.

— Сгубишь добро, пропадет яблоко, что ты бросаешь их, они не деревянные, — не сдержался старик

В избу ввалились еще три немца. Низколобий недовольно взглянул на вошедших.

— Ну и нарядились, — удивился дед, увидев щуплого немца с рыжими усами, у которого вся шея была в чирьях, а на ногах — на одной валенок, а на другой калишка, обкрученная проволокой.

— Ганс! — закричал сутулый на низколобого, — и мы берем! — С этими словами они бросились к ящику. Ганс толкнул сутулого, и тот кубарем покатился от ящика к порогу, потом поднялся и с кулаками подскочил к Гансу. Началась свалка.

Дедушка Петр брезгливо плюнул.

— Волки, а не люди.

И ушел за перегородку.

Кончилось тем, что кто-то схватился за автомат и выпустил очередь. Солдаты, которые вошли последними, убежали из избы. Ганс, утирая рукавом пот с грязного лица, опять верхом взгромоздился на ящик и, как ястреб крылья, раскинув руки, кричал над остатками:

— Сволочь такой... не дам...

С этого дня Ганс заделался хозяином в избе Козодоевых. Петра с Агафьей прогнал на кухню за перегородку. Вилки и столовые ножи Ганс положил в свой рюкзак. Ножи, сделанные дедушкой Петром из старой косы, были с деревянными ручками и не представляли большой ценности. Ганс боялся старика. За три дня повесть у Козодоевых опустела, кур перестреляли и съели, на дворе остался один петух. Ганс долго охотился за ним, но подстреленный петух забился под клеть и оттуда не выходил. Перепуганная Агафья ни в чем не перечила мародерам, но глаза ее старого свекра с каждым днем мрачнели.

Все-таки не сдобровал и петух. У корытца подкараулил его Ганс. Глаза Ганса полезли на лоб, когда он увидел на дворе воткнутый в забор тупой топор. Ганс вошел в избу, в одной руке он держал белую окровавленную голову петуха, в другой — топор.

Топилась печь. Ганс бросил топор в печь, Агафье приказал ощипать петуха.

Немцы с утра до вечера топили печку. В избе было

жарко, как в бане. В соседнем селе разгромили винокуренный завод. Ганс притащил бугыль спирта-сырца. Началась пьянка. Ганс отморозил пальцы, и, быть может, потому он так ревностно калил печку, шлепая ладонями по горячим кирпичам. Поленницу дров, которой хватило бы на ползимы, немцы сожгли за две недели. Когда дрова кончились, Ганс скомандовал деду:

— Пилить надо!

— Ты помоложе меня. Иди, пили...

Вскоре дедушка Петр услышал, как в саду зубастая пила вгрызается в дерево. Дед направился туда. Он отворил дверцу и, не веря своим глазам, остановился в изумлении: солдаты пилили под корень старую развесистую яблоню.

— Разбойники, что вы дерево-то губите? — закричал возмущенный хозяин, — ни человеку, ни растению житья не даете...

И старик торопливо пошагал, увязая в глубоком снегу, к солдатам, чтобы помешать им. Ганс понял старика, окинул его насмешливым взглядом, кивнул партнеру, и они еще проворней заработали пилой. Они торопились подпилить дерево и уронить его на старика. Когда дед очутился около яблони, Ганс обеими руками уперся в ствол; дерево, громко треснув, нехотя повалилось, накрыло старика сучьями. Дедушка Петр с трудом выполз из-под дерева, встал и, покачиваясь, с обнаженной седой головой, смело пошел на Ганса. Ветер развевал седые волосы. Ганс стоял, облокотясь о высокий пень, держа в руке пилу. Дед подошел к солдатам и прерывающимся голосом прохрипел:

— Свины вы, как есть свиньи, скоты безумные. Ведь я своей рукой это дерево посадил... Только вчера ты жрал с него яблоки, а сегодня загубил его... Такое дерево срубить — все равно, что невинного убить... еще хуже. А ты вот срубил, а зачем срубил, сам не знаешь? Русской земле пакостить захотел. Не забудь: наша земля памятлива. Дай-ка пилу да ступай из сада. — И старик хотел вырвать у Ганса пилу. Ганс, согнув дугой пилу, царпал деда по груди и распилит нагольную шубу.

— И шуба помешала... — Старик вспыхнул ненавистью. — Теперь пили шею... На, пили, разбойник.пей кровь: напьешься — лопнешь... — дед расстегнул воротник шубы.

— Сад мой, колхоз мой, ты мой. И ты молчать будешь... — невозмутимо объявил Ганс.

— Коли сад твой, так ты и береги его, а не глумись над ним... Яблоня — не береза....

Ганс ударил деда ногой в грудь, старик упал навзничь в

глубокий снег, раскинув руки. Солдаты подошли к старой антоновке, той самой, которую ночью Петр перевязывал молчалом, и принялись пилить ее.

Солдатам казалось забавным, что старик злится на них.

Едва они коснулись пилой дерева, как дед поднялся и опять подошел к ним. Смелый старик защищал свой сад, в котором каждая веточка была возвращена и влечена его старательной рукой. Старик схватился за ручку пилы и так толкнул Ганса, что тот, отлетев в сторону, сел в снег. Ганс обозлился, подмял под себя деда и, стоя на его спине, продолжал пилить дерево. Рухнула старая яблоня — ровесница седого садовника. Старик понял, что чем больше он говорит, тем с большей наглостью безобразничают немцы. Тогда он махнул рукой и решил уйти из сада. Но едва успел вырваться на узенькую тропинку, услышал за спиной шаги немцев. От сильного толчка в спину старик покачнулся, не удержавшись на тропинке и сел в снег. Солдаты остановились.

— Вставай!

Но дед не вставал. Глазами, полными ненависти, он смотрел на солдат и ждал, когда они уйдут из сада.

Ганс с носка сапога швырнул снегом в лицо старику. Снег залепил глаза и рот, засеребрился на длинной седой бороде, попал за воротник, холодными струйками потек по морщинистой шее.

Затея Ганса пришлось по вкусу другим солдатам. Они тоже принялись швырять снегом в лицо старику. Шапку деда повесили на пень, изрешетили ее из автомата, с рук сняли варежки, насыпали в них снега и хотели надеть.

— Надевай, мошенник, сам, — отозвался дед и отвел руки.

Тогда солдат принялся черпать варежкой снег и посыпать голову старого садовника. Двое других швыряли снег сапогами. Старик сидел, обрастая снегом, и скоро он стал похож на снежную копну, из которой торчала седая голова, загороженная снегом.

— Марширт в избу! — кричал Ганс.

— Собака, — слышалось в ответ...

— Баню ему. Воды! — приказал Ганс.

Длинношей солдат послушно метнулся к колодцу. Принес бадью воды.

— Пей!

— Собака! — И дед плюнул в лицо солдату. Ганс окатил водой засыпанную снегом голову.

— Еще воды!

Немец приносил бадью за бадьей. Снежная куча на

тридцатиградусном морозе в одну минуту покрылась ледяной коркой. На длинных, густых ресницах садовника повисли сосульки, борода и пряди волос обледенели.

Ледяным панцирем окованы руки, густые ресницы слипаются на морозе, мутной пеленой застилает глаза.

К деду часто ходил веснушчатый, курносый внук Гераська. Гераська любил своего деда за сказку про царя Петра Первого и умного солдата, которую дед часто на досуге рассказывал. Каждый раз на прощанье дед наделял внука яблоками. А потом еще у бабушки был рыжий кот Барсик. И этот кот взвизывался под потолок, когда Гераська подвешивал на нитке косточку или кусочек мяса.

Вот и сегодня Гераська шел проведать бабушку.

Подойдя к саду, он увидел в снегу облитого водой замерзающего деда и ненавистных солдат около него: — Дедушка, дедушка, — закричал Гераська со слезами на глазах и подбежал к деду.

— Я, Гераська, я. А ты не плачь. Плачешь — значит в тебе силы нет. Не заплачешь — значит верх твой... — говорил дед гневным голосом.

— Деденька, что они с тобой сделали...

— А у них такое обучение...

Гераська бросился к забору, схватил деревянную лопату, которая осталась в саду после осенней уборки, и поспешил на помощь замерзающему. Ганс вырвал у Гераськи лопату, бросил ее за частокол, ногой отшвырнул Гераську в сторону.

— Пили его!

Гераська обмер.

Солдаты приложили пилу к шее деда.

— Не трогайте, не трогайте, — Гераська бросился к солдатам, схватился за ручку пилы. Ганс ударом отшвырнул Гераську. Гераська ткнулся лицом в снег, но тут же вскочил, а солдаты уже царапали пилой ледяную корку, пила вгрызалась в шубу, в зубьях застревали клочья шерсти. Гераська опять схватился за пилу.

В эту минуту в морозном воздухе треснул выстрел, а потом, захлебываясь, зататакал пулемет. Ошеломленные солдаты бросились из сада. А Гераська принялся голыми руками расшвыривать обледенелый снег, торопясь высвободить деда из ледяного плена.

Внук разрушил ледяную тюрьму и помог встать окоченевшему деду, подал шапку, вытряхнул снег из варежек. А на селе разгоралась перестрелка, катилось могучее «ура».

Дед, положив руку на плечо внука, стоял в саду, а вокруг в беспорядке, как трупы на поле боя, лежали деревья.

Ярко светило холодное зимнее солнце, стеклянной пылью искрился снег.

— Дедань, пойдём скорее в избу, — позвал внук.

— В избу-то, — повторил дед голосом, каким он никогда не говорил, — пойдём, пожалуй... Вот, Гераська, я умру, а ты большой вырастешь, не забывай, как твоего дедушку, немцы заживо морозили.

В село стремительным броском ворвались партизаны, колюли немцев штыками, расстреливали из автоматов и винтовок, уничтожали гранатами.

Немецкую пушку, что стояла на прогоне, партизаны, перекроив расчёт, захватили в свои руки и били по немцам немецкими же снарядами.

Немцы метались от избы к избе; не выдержав партизанского натиска, они пустились наутек.

Горбоносый офицер выбежал из избы в шинели, накинутой на плечи. Он перепрыгнул через плетень и между кустов боярышника побежал к овину, но едва выбежал из кустов, как из-за стога сена выскочил Кузьма Барсов и в мгновение ока вскинул к плечу винтовку. Офицер ткнулся в снег и в предсмертной судороге задергал плечами.

— Гости, чего удираешь?! — сказал Кузьма, пробегая мимо ещё теплого офицера.

Кузьма с группой партизан сквозь заросли боярышника выбежал ко двору Козодоевых.

Партизаны притаились за бревнами, и когда три подгулявших гитлеровских выкормыша выбежали из сада, по ним ударили из винтовок. Длинный солдат с чирьями на шее вскинул руки, запрокинулся и, как-то неуклюже подогнув под себя ноги, рухнул на снег у крыльца. Двое уцелевших метнулись обратно в сад, но одного из них догнала меткая пуля Кузьмы.

Ганс остался один. И его бы смазал Кузьма, но в эту минуту из окон избы с противоположного посада залаял немецкий автомат.

— Игнаха, тех придется гранатами выкурить. Возьмись ты, — приказал Кузьма лежавшему рядом с ним юноше Игнатию Королеву.

Игнаха со связкой гранат по-пластунски пополз к частоколу, чтобы пробраться к избе, в которой засел автоматчик.

Ошалелый Ганс вбежал в сад. Он бежал по той самой тропинке, на которой стояли дед с внуком.

Хмель с Ганса, как ветром, сдунуло. Тупое надменное самодовольство на одутловатом лице сменилось животным страхом.

Сейчас Ганс не толкал садовника, не требовал уступить дорогу, он напуганным зайцем махнул в сугроб и пополз вдоль частокола в густую заросль малинника.

Ганс хотел выбраться из сада и улизнуть в соседнюю дубраву. Но только он высунул нос из малинника, увидел у сарая партизан. Бежать некуда. Отполз обратно и залег в снегу под высоким кустом, полагая, что старик не заметил его.

А садовник сказал внуку:

— Гераська, в сених под сундуком топор лежит, сомчи-ка...

Гераська птицей метнулся в сени. Дед с высоко занесенным поблескивающим на солнце топором подошел к кусту, под которым притаился Ганс.

— Ну, стерва, поднимайся вон из моего саду!

Дед держал над головой немца топор, готовый раскрыть немцу череп.

В саду появился Кузьма.

Ганс, как исхлестанная хозяйской плеткой собака, подполз к ногам старика. Руки у него тряслись, на глазах навернулись слезы.

— Я твой брат, я заплачу тебе, — лепетал он захлебываясь и дрожащими руками обнимал обледенелые сапоги садовника.

Прикосновение солдата к сапогам, словно током, пронзило все тело возмущенного старика.

Он обеими руками взмахнул топором:

— Гадина, братом назвался... тебя и собачьим-то братом назвать обидно... Собака—и та обидится. Эх, сердце больше не терпит.

И старик, прикрывнув, со всей силой обрушил топор на голову немца.

— За такую змеюгу и сам бог, коли он есть, к ответу не потребует. Отойди, Гераська, а то змеиной кровью обрызжет...

И дед с топором в руке, по лезвию которого текла кровь, пошел Кузьме навстречу.

— Воронье залетное, дедок, глушим? — спросил разгоряченный боем Кузьма.

— Сердце не вытерпело... Теперь и умирать не страшно, не в долгу перед родной землей.

И Кузьма обнял старика и поцеловал в губы.

АКСИНЬЯ ГРОМОВА

Ночь волчицей вышла из унылого мелколесья, окутала мгlistой педеной пустынные зимние поля, молчаливые деревни и села.

И тем, кто в этот час пугливо выглядывал из калитки или выходил за ворота, казалось, что где-то рядом по заснеженным холмам и оврагам бродит кровавое лихо, жуть охватывала, мурашки пробегали по коже, торопливо закрывались калитки и ворота.

В селе Зеленая грива вот уже полгода хозяйничали немцы. В церкви они сделали конюшню, в школе разместили штаб, книжками и партами топили печку.

Немецкий офицер, гестаповец Шульце, пузатый, круглый, с лысым желтым черепом, гладко выбритый, с глазами на выкате, вечером приказал согнать на площадь к школе всех жителей села и коротко через переводчика объявил:

— О Советах забудьте, Красной Армии больше нет. Мы ее разбили, остались только отдельные отряды. Мы их скоро тоже уничтожим. На этом война закончится. Отныне земля эта является немецкой землей. Вы живете на немецкой земле. Мы установим новый порядок. Кто не подчинится, того будем карать.

Потом офицер по списку велел зачитать, кто и что должен принести завтра к девяти часам в немецкую комендатуру.

Уж не первый раз собирали немцы колхозников на площадь.

Каждая изба в селе была обобрана до последней курицы, но немцы не могли насытиться и продолжали вымогать, отнимая у детей последний кусок.

Офицер хлестнул плеткой по столику, стоявшему рядом, и гнусаво вызвал:

— Аксинья Громова.

Из толпы вышла высокая женщина лет сорока пяти, худощавая, с большими черными глазами, полными скорби и скрытой ненависти, с чертами лица, свидетельствующими о сильном волевом характере. На ней была старая дубленая шубенка да лапти, на голове ситцевый платок, из-под которого выбивались черные, волнистые волосы.

Аксинья молча стояла перед округлым офицером и глядела поверх его низкопосаженной головы куда-то вдаль, к синеющей гряде леса, что кольцом опоясывал село.

— Мой приказ Аксинья Громов принести завтра поро-
сенка, — сказал офицер.

— А вот когда вырастет... — ответила Аксинья.

— Что говоришь?

— Говорю, когда вырастет, тогда и принесу...

— Где поросенок?

— Еще по осени вы же съели.

— Хорошо... тогда неси овцу...

— Были овцы да сплыли...

— Кур, давай!

— Вчера последнего петуха ваши солдаты подстрелили...
Господи, да когда конец этому мученью придет?! — обра-
тилась Аксинья к угрюмо молчавшим односельчанам.

Офицер плеткой ударил по лицу стоявшую перед ним
Аксинью... Она покачнулась, не взвизгнула, не заплакала,
подалась назад и встала позади других...

— Утром быть здесь все! — приказал, багровея, офицер.

Колхозники в глубоком молчании разошлись по домам.

Смеркалось. Аксинья Громова тяжелой походкой вошла
в холодную избу. Не раздеваясь, ткнулась лицом в подуш-
ку и зарыдала.

На печи вместе с бабушкой Дарьей, подслеповатой се-
дой старухой, лежал десятигодовалый сынишка Аксиньи,
курчавый Генка, похожий на свою мать.

Генка поспешно соскочил с печки, топая босыми ногами
по холодному, как лед, полу.

— Маманька, что плачешь? — обнял он детской ручон-
кой шею матери и наклонился над подушкой...

Аксинья закинула голову, утирая тылом ладони слезы, ус-
покоила сынишку: — Так, ничего... об отце нашем вспо-
миная... Где-то он родной наш теперь... вот и загрустила...

Но Генка все понял без слов, увидев на лице матери си-
небагровую полосу — след офицерской плетки.

Тоскливо тянется длинный зимний вечер. Аксинья свет не
засвечала, темно было в избе. Все трое: свекровь, Аксинья
и Генка лежали на чуть теплой печи. На стене тикали хо-
дики, за печкой, не переставая, грызла мышь. Аксинья ле-
жала с открытыми глазами, закинув руки за голову, глядя
в потолок.

Вдруг, где-то совсем близко, раздались один за другим
три потрясающей силы взрыва. На мгновенье в избе сделалось
светло, как днем, на стеклах засеребрились морозные узоры,
с посудницы упала деревянная тарелка и колесом покати-
лась по полу, в комод задрожали чашки, кот соскочил с

печки и заметался по избе. Генка в испуге прижался к матери, шепнув:

— Мамка, что это?

— Я и сама не знаю, — ответила мать. Через минуту, на другом посаде села красными крыльями взмахнул пожар. Это горели немецкие конюшни, и вслед за этим началась беспорядочная ружейная и пулеметная стрельба. По дороге с железным скрежетом и лязгом пронеслись два танка. Село огласилось гортанным немецким криком. Немцы бросились тушить конюшню, но было поздно.

— И так житья немец не давал, а теперь вовсе со света сживет, — глубоко вздохнула старуха.

Аксинья накинула шубенку на плечи, вышла в сени, постояла, прислушиваясь к стрельбе и крику, потом прошла на двор и, приподнимая дверцу, чтобы не скрипнула, приоткрыла калитку в сад...

Пушистый иней покрыл вишневые кусты. Зарево стояло над селом. Языки пламени вырывались кверху, словно пытались лизнуть небо...

Кусты легко покачнулись, кто-то, плотно прижимаясь к снегу, по-пластунски полз к забору... Аксинья хотела закрыть калитку, но какое-то предчувствие подсказывало ей, что это тот, кто за нее, Аксинью, расквитается с немцами... Человек поднялся и замер за кустом...

— Кто ты? — спросила тихо Аксинья.

От куста к калитке поспешно подошла стройная девушка в шапке-ушанке и красноармейском ватнике. Аксинья все поняла и позвала девушку во двор, закрыла калитку. Во тьме крепко обняла неизвестную и поцеловала в горячую щеку...

— Так им, дьяволам, и надо... милая ты моя... заступница наша, — причитала Аксинья.

— Я ничего не знаю, я сбилась с дороги, а здесь оказывается немцы, — проговорила девушка. Но Аксинья была уверена, что перед ней партизанка.

— Знаю, знаю... кто ты... Ты меня не бойсь... Не выдам, не скажу, пусть что хотят со мной делают. Ох, как я ненавижу их проклятых! Укрою тебя, а вот утихнет все и до лесу доведу. Роднушка ты моя... Отважная.

Потом Аксинья спросила незнакомку — как зовут. Та назвалась Катюшей. Они вошли в избу.

— Кто тут? — спросила свекровь, когда Аксинья и Катя переступили порог...

— Я, матушка, — ответила Аксинья.

— А еще-то кто? — любопытствовала старуха.

— А это одна девушка из города, знакомая моя...

Старуха принялась читать молитву против немца. Так и сидели они в темной избе на лавке. Потом Акси́нья занавесила окна попонами, засветила фитилек, поглядела на Катюшу, голубоглазую девушку с русыми волосами. Достала из сундука шерстяной шарф и подала Кате.

— На, возьми, все потеплее будет... У вас ведь работа такая...

Прошло не больше получаса, на крыльце послышались тяжелые солдатские шаги...

— Батюшки, уж не немцы ли прутся, — всплеснула руками Акси́нья.

— А кому же больше-то, — сказала свекровь.

Нетерпеливый стук в дверь повторился. Акси́нья шепнула Кате:

— Беги на двор, там стоит лесенка, полезай в сено на полатки и лежи. — Катя юркнула в сенцы. Акси́нья пошла отпирать дверь.

В избу вошли немецкие солдаты вместе с офицером Шульце. Сноп лучей от электрических фонарей осветил Акси́нью... Ей показалось, что это пришли какие-то ослеплые чудовища, обутые в железные сапоги. Лицо Шульце, багровое от водки, искажилось ненавистью, когда он увидел перед собой Акси́нью...

— А, это ты советский баба... Кто жарил моих лошадей?

— Не знаю...

— Я заставлю сказать...

— Ничего я не знаю, хоть сейчас убейте...

— Убить успеем. Сначала сказать, завтра убью... — спокойно говорил Шульце.

— Где партизан?

— Никаких партизан я не знаю...

— Врешь!

— Не вру...

— Я проверю... Найду — долой твоя голова. Так я сказал. Ищи везде! — приказал Шульце. Солдаты обшарили избу и ничего не нашли. Генка лежал на печи, забившись в угол. Шульце заглянул на печь, сорвал с Генки попону и, злорадствуя, крикнул:

— Вот он!

За ногу сорвал мальчишку с печи. Генка заплакал.

— Что ты делаешь? — закричала Акси́нья, загораживая собой сына, — даже дети тебе помешали. Не тронь

его, он не виноват... Крови захотел, на, стреляй. — И Аксинья рванула кофту на груди.

— Ого, стройный баба, — изрыгнул офицер. — Твоего сына возьмем в заложники. Если завтра утром не выдадите поджигателя, мы повесим его вместе с другими. Пшел! — офицер толкнул Генку к двери, Генка схватился руками за скобу, но его ударили по рукам автоматом. В рубашонке и худых сапожничках вышвырнули Генку в сени. Генка закричал:

— Маманька, маманька, спаси, куда они меня уводят...

Дверь осталась открытой, Аксинья на минуту окаменела в нерешительности — кем жертвовать сыном или партизанкой? Собрав все душевные силы свои, она крикнула вслед сыну в открытую дверь:

— Иди, касатик, иди, не бойсь, они не смеют тебя убивать, ты не виноват...

Свекровь, только сейчас поняв, что случилось, поднялась на локти и закричала страшным голосом:

— Солдаты, стойте, стойте...

Аксинья закрыла ладонью рот свекрови.

— Что ты делаешь? Не смей! Не смей и не выдумывай. Она не виновата.

Когда солдаты ушли, Аксинья облокотилась на стол и глухо, судорожно зарыдала, ломая себе руки... Свекровь ее не успокаивала. Аксинья неутешно плакала, потом свекровь укоризненно, горько попрекнула ее:

— Не реви, сударка, себя вини... чужую пожалела, а своего сына в руки смерти отдала.

Аксинья перестала плакать. Черные большие глаза ее были сухи, в них светился пламень немеркнувшей ненависти.

— Не отдала, вырвали, отняли, что я одна с ними сделаю... что?

Она вышла во двор, заперла крыльцо и скоро вернулась в избу вместе с Катюшей. Села на лавку, сложила руки на коленях, прислонясь затылком к стене, закинула голову и страшными глазами смотрела на потолок в одну точку. Свекровь кряхтела, охала, что-то слезливо причитала. Катя поглядела на аксиньино лицо, и дрожь пробежала по ее телу. Катя поняла, что произошло что-то страшное.

— Где сынок-то ваш? — спросила она у Аксиньи.

— Увели, — холодным голосом ответила Аксинья.

— Через тебя, голубушка, мальчонку погубят, — посетовала старуха.

Катя поспешно вскочила с лавки, задумалась, прищурив глаза: «Задание я выполнила... Она спасла мне жизнь, она

готова была пожертвовать для меня всем... Теперь у нее отняли сына, завтра его могут убить, нет, я спасу его. Я отплачу этой женщине тем, чем она услужила мне»...

В глухую полночь, когда только таяли голодные собаки, Аксинья через конопляники проводила Катю самой короткой дорогой до лесу... На опушке они простились, и на прощанье обнялись.

— Только приходите скорей! — прощаясь, просила Аксинья.

— Мы придем! — уверенно сказала Катя.

Сорок человек заложников были брошены в нетопленную, пропахшую дымом и копотью баню. Тут были и дети и старики. Продрогший Генка сидел на полу. Его укутал полый своего тулупа колхозный сторож дед Максим. В бане было темно, тесно и душно; заложники ожидали кровавого конца; дед Максим, седобородый и величавый, с эпическим спокойствием в голосе и в чертах лица, рассказывал Генке сказку об орле и змее. Генка, перепуганный на смерть, слышал слова, но не понимал их смысла. У дверей бани, постукивая каблуками и дуя в кулаки, стоял промерзший немецкий часовой.

Тревожно и грозно молчало обиженное село.

Шульце, после сытного ужина, спал на квартире доктора, которого немцы повесили в первый же день прихода в село.

За лесом начинало брезжить. Горя кровавым багрянцем, вставала холодная зимняя заря, рассыпая мглу над полями и перелесками. И вдруг напряженную тишину утренней рани расколол пушечный залп. Из-за пригорка, словно из-под земли, выскочили два немецких танка и помчались в село. За танками с шашками наголо летели всадники. За ними густой цепью бежали пешие бойцы.

На танках сидели, как бедуины в белых халатах, партизаны. Среди них была и Катя. Танки были отбиты у фашистов.

Застигнутые врасплох, немцы почти все были перебиты партизанами, а Шульце попал в плен. Со слезами радости на глазах выходили из бани вырванные из рук смерти заложники. Катя увидела Генку, подбежала к нему и обняла его.

— На, оденься, замерз, братишка мой! — Разгоряченная коротким, но жарким боем, она сняла с себя ватник и надела его на Генку.

Весь народ высыпал на улицу. Словами, рукопожатиями и взглядами благодарили колхозники партизан.

Как ворон в соколиной стае, стоял среди партизан Шульце, в одном сапоге — другой он не успел обуть.

Аксинья подошла к фашисту, презрительно посмотрела и плюнула ему в морду.

— Что, змея немецкая.. уничтожил советскую власть.. Дайте мне его, я разорву его руками. — И Аксинья бросилась на офицера.

— Нет, постой, мы с ним еще кое-о чем потолкуем, — остановил Аксинью командир отряда, бывший директор соседнего совхоза, — потолкуем, а потом найдем для него место, немного ему земли потребуется.

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

ВОСЬМАЯ АТАКА

Шесть красноармейцев отстаивали обгоревшее здание, которое по-военному называлось внушительно и строго: рубеж. Пули беспрерывно щелкали о кирпичную стену. Иные залетали в окна, и тогда было слышно их тонкое пение. Порою из переулка, захваченного немцами, выскакивал черный, приземистый танк, стреляя в дом из пушки. После нескольких выстрелов танк опять скрывался в переулке. Бойцы не уходили, отстреливались. Но среди них уже были убитые и раненые.

Утром третьего дня в дом приполз старшина Бобыльков, принес патронов и хлеба. На разбитом полу, в простенке между проломами окон, лежали двое убитых красноармейцев. Третий, раненый, тихо стонал возле двери.

— Да-а! — протянул старшина, оглядев их. — Ну, все равно. Вашему подразделению приказано продержаться до завтрашнего утра, а там подойдет подмога.

— Понятно, — ответил старший сержант Цибенко, маленький рябой украинец, бывший тут за начальника.

Старшина снова ушел.

Днем красноармейцы отбили семь жестоких атак, и к вечеру, после седьмого отчаянного натиска немцев, в доме остались лишь двое: красноармеец Горюхин и старший сержант Цибенко. Остальные были убиты. Раненый умер.

Цибенко, тяжело раненный в голову, сначала храбрился и еще сам замотал голову бинтом из индивидуального пакета, но потом ему стало хуже: он начал бредить и то шептал нежные, ласковые слова, то выкрикивал злые ругательства.

Горюхин уложил его в уголок, подставив свою шинель, и сказал:

— Вот так будет ладно. Лежи.

С той стороны снова защелкали пули, и Горюхин понял, что немцы сейчас снова пойдут. Он метнулся к окну и дал короткую очередь из ручного пулемета, потом перебежал к

другому окну и, схватив лежавший здесь автомат, снова выстрелил. Перебегая от окна к окну, он стрелял даже не целясь. Ему казалось, что, стреляя из разных отдушин, он обманет противника, и немцы не догадаются, что в доме остался один человек.

Может быть и в самом деле немцы подумали, что в доме еще много русских: они не выходили из своих укрытий.

Горюхин успокоился и стал свертывать папироску. Но свернув, не закурил ее: не было спичек.

— Война, — укоризненно проговорил он и покачал головой.

До войны Родион Горюхин был суздальским штукатуром, да не каким-нибудь простым, что умеют лепить стены, подравнять уголок или вывести наличники. Он обладал талантом мастера и вместе с артелью лучших штукатуров работал по лепным потолкам, фасонным карнизам. Этот труд был творчеством и, как всякое творчество, приятен и мил человеку.

На войне, где каждый шаг — разрушение, Горюхин страдал от этого. По разбитым, обвалившимся потолкам, по сожженным карнизам домов он угадывал их первоначальный облик, видел их такими, какими они стояли на мирных улицах, и ему было горько смотреть на то, как разрушается благородное дело человеческих рук. И чем дольше он воевал, тем большим возмущением и яростью наполнялась его душа. Он видел разрушение всюду, куда вступали немцы, и привык ненавидеть немца всей страстью сердца.

Вот и в этом городе, до которого теперь докатилась война, глазом мастера он угадывал чудесные улицы и дома, с затейливыми лепными украшениями, над которыми трудились, может быть, его земляки, суздальские штукатуры и каменщики. Но все это было уже разорено, и причиной разорения были те же немцы. Стреляя в перебегające согнутые фигуры немецких солдат или в показавшуюся над грудой камней немецкую каску, Родион шептал:

— Ах, звериные души, ах, демоны!

Дома, в Суздале, он был тихим человеком, и когда по осени случалось в хозяйстве заколоть поросенка или даже зарезать курицу, Родион не мог этого сделать, приходилось просить соседа. И над ним даже посмеивались, что он такой робкий, а тут вот, на войне, он привык убивать немца и даже радовался, когда видел, что немец падал от его пули.

— Ага! — покриживал он, — доворовался, волчья душа.

Сумерки наступали быстро. В углах разбитого дома сгу-

щались и, казалось, шевелились смутные тени. Горюхину стало страшновато. Ведь он был один во всем доме, но и уйти отсюда Родион Горюхин не мог: ему стыдно было перед мертвыми отступить с рубежа, в бою за который погибли товарищи.

Ближе всех к Родиону лежал труп красноармейца Сычева. И Горюхин вдруг стал с ним разговаривать.

— Вот так-то, товарищ Сычев, — сказал он. — Раз до утра приказано держаться на рубеже, значит надо держаться, потому что война — дело сурьезное.

Горюхин вздохнул и, осторожно выглянув в бойницу, увидел, как на противоположной стороне площади мелькнула какая-то серая фигура. Вскинув автомат, он выпустил очередь и прошептал: «Волчья душа!»... Немец грузно свалился. Потом, обращаясь снова к трупу Сычева, Горюхин сказал:

— Главное: им жизни не надо давать, товарищ Сычев.

Снаружи часто защелкали пули, рассыпалась торопливая дробь пулемета. Позади Горюхина, в коридоре, загремели, обрушившись, камни. Он оглянулся и увидел женщину.

— Пригнись, — крикнул Горюхин, — пригнись, глупая, убить могут.

Красноармеец принял ее за санитарку из первой роты и сказал:

— Там вон, в углу, Цибенко, раненный в голову, погляди.

Женщина подползла в угол и торопливо стала перевязывать раненого. Тут, присмотревшись к ней, Горюхин вдруг увидел, что это вовсе не санитарка из первой роты, а совсем незнакомая женщина, и одета она была в серое драповое пальто, модно сшитое, но уже разорванное и запачканное.

— Ты откуда? — спросил он.

— Я здешняя, — ответила женщина и рассказала, что зовут ее Викторией, что муж ее, художник, на фронте, но от него вот уже четыре месяца нет писем, что во время бомбардировки у нее убило единственного сына.

— Пятилетнего, — горько вздохнув, сказала она.

— Ай, звериные души! — возмутился Горюхин и спросил: — А ты что же не ушла? Ведь гражданских за Волгу перевозили?

— Куда я пойду? — ответила женщина. — Я уж здесь...

Она указала на противоположную сторону площади, где теперь в развалинах большого сгоревшего здания засели немцы, и сказала, что там был ее дом.

— Так. Над подъездом-то вензеля что ли были? — деловито спросил Горюхин.

— Какие вензеля? — не поняла она.

— Ну, да как бы сказать, — украшения алебастровые. Проще говоря, — барельеф.

— Ах, вы вон про что... Были.

— Я сразу понял. Хотя подъезд там вовсе разрушенный, но уголок сохранился. Я все гляжу и думаю: а ведь тут вензеля были.

— Нет теперь дома...

— Ничего, гражданка, отстроимся, — сказал Горюхин.

— С войной кончим и отстроимся. Красивей прежнего. Народ сейчас по работе истосковался.

Женщина ему ничего не ответила.

С живым человеком Горюхину стало веселее и даже как-то смелее. Он сказал об этом Викторини.

— Давеча-то малость струхнул, а уйти совестно. Вот перед ними, — указал он на мертвых.

Так просидели они до рассвета всю тревожную ночь. Горюхин изредка постреливал, но немцы ночью вели себя тихо. Только утром с их стороны снова раздалась частая дробь пулемета, и красноармеец понял: сейчас пойдут...

Он проверил ручной пулемет, поближе придвинул запасные диски и потом протянул Викторини автомат.

— Стрелять-то умеешь?

— Нет, — созналась она.

— Как же это ты! — укоризненно сказал он. — Ну ладно, тут дело нехитрое. Постигнешь.

Он показал, как нужно стрелять, и велел ей подползти к соседнему окну.

— Стреляй уж куда попало. Все равно — лишь бы шум был.

— Хорошо, — сказала Викториня.

Началась восьмая атака. Немцы били по дому из трех пулеметов, и под прикрытием их огня поодиночке и кучками серые фигуры солдат стали перебегать площадь.

— Огонь! — сам себе закричал Горюхин и выпустил длинную очередь. Рядом с собой услышал он треск автомата и с каким-то вступлением еще раз крикнул:

— Огонь!

Он увидел, как падали немцы и как, огибая упавших, бежали другие и тоже падали, сраженные пулями. Ему вдруг стало очень жарко, со лба из-под пилотки струились крупные соленые капли пота, а во рту пересохло.

— Давай, давай! — не унимался он.

Пули грызли камень, взвизгивали над ухом, а он стрелял. Только раз он оглянулся, когда замолчал автомат и Виктория беспомощно сказала:

— Не стреляет.

— Бери другой, — крикнул он и вновь отвернулся, чтобы следить за немцами. Когда рядом снова затрещал автомат, он догадался, что женщина поняла его, и довольная мысль мелькнула у него в голове: «Двое — не один». И вдруг он ликующе выкрикнул:

— Ага, волчьи души!

Не выдержав огня, немцы отхлынули обратно в убежище, даже не успев утащить убитых и раненых. Но несколько человек все-таки успели прорваться к самому дому. Горюхин отложил пулемет и схватил ручную гранату из кучки их, лежавших в простенке.

— Вот! — крикнул он, бросая гранату через окно.

Раздался взрыв.

— Вот! — повторил он, бросая еще одну.

— Вот, — услышал он за своей спиной голос женщины, а там за окном взорвалась третья граната.

— Ты!? — удивленно спросил он.

— Угу! — торопливо ответила Виктория. Она словно испугалась того, что сделала, и, точно оправдываясь, добавила: — Я посмотрела, как вы...

— Молодец! — похвалил он и выглянул в амбразуру. Перед самым домом корчился раненый немец. Шестеро лежали без движения. «Убитые» — понял Горюхин. Только один воровато отползал, чтобы спрятаться за обломки фонтана.

— Стой, звериная душа, — крикнул красноармеец и выстрелил ему в спину. Немец как полз, так и ткнулся лицом в разрытую землю.

Восьмая атака немцев была отбита.

— Закон, — устало улыбаясь, проговорил Горюхин и, отерев пилоткой раскрасневшееся потное лицо, обратился к Виктории:

— Ей-богу отстроимся! Все дома вензелями отделаем. Пусть глаз веселят.

— А сына-то мне никто не вернет, — тихо и горько сказала Виктория.

Они помолчали. Горюхин нахмурился и потом внушительно и сурово проговорил:

— А за кровь... за кровь они кровью ответят. Я на что тихий был -- и то сердцу от лютой стало тесно.

ВИКТОРИЯ

Воздушная тревога была объявлена утром. Об этом оповестил дежурный местного штаба ПВО. Круто нажимая на «о», он несколько раз повторил:

— Городу объявлена воздушная тревога...

За последнее время ему довольно часто приходилось произносить эту фразу, и в городе уже все привыкли и к окаяющему голосу дежурного и к далекому, глуховатому грохоту взрывов: немцы сбрасывали бомбы, не долетая до города.

Было воскресенье, выходной день. Почти все жильцы большого четырехэтажного дома по улице Ломоносова находились в своих квартирах, и как только была объявлена тревога, все они поспешили в подвал, служивший бомбоубежищем.

На третьем этаже, в квартире № 6, жила Виктория Карпова, высокая, красивая женщина, работавшая бухгалтером в промкооперации. Сегодня, по случаю дня отдыха, она и ее маленький сын были дома. С утра они собирались съездить к бабушке на загородную Казанскую улицу, но теперь это пришлось отложить.

Когда по радио объявили тревогу, Виктория быстро одела мальчика и побежала вниз. Десятка полтора женщин с детьми собралось в темном, душном помещении, где нахло застарелой плесенью и мышами.

Соседи уже привыкли встречаться в этом неудобном подвале. Обычно, просидев часа полтора, они дожидались отбоя и расходились по квартирам, чтобы снова приняться за свои домашние хлопоты.

Сегодня тревога долго не прекращалась. Сидящие в подвале люди вполголоса переговаривались между собой, а какой-то подросток все выбегал на лестницу и, вернувшись, сообщал:

— Зенитки бьют над Бекетовкой

Или:

— Пока ничего не видать...

Но вот уже перед вечером он вбежал в подвал с криком:

— Летят. Девять штук. Из-за Волги...

Все в подвале притихли. Выстрелы зениток стали слышнее. Потом послышался нарастающий гул моторов, и вдруг, покрывая все звуки, раздался резкий свист, а вслед за ним — страшный грохот, от которого задрожали кирпичные стены подвала.

Первые бомбы. очевидно очень тяжелые, упали в центре

города. Люди в подвале теснее прижались к углам. Заплакал чей-то грудной ребенок. Старуха из одиннадцатой квартиры громко читала молитвы. Взяв сына на руки, Виктория присела на какой-то ящик. Вдрагивая при каждом новом взрыве, она крепче прижимала к себе ребенка и шептывала ему успокаивающие слова.

А свист падающих бомб и грохот взрывов не прекращались. Эшелон за эшелоном пролетали над городом бомбардировщики, и гром взрывов и шум рушащихся зданий то удалялись, то были отчетливо слышны — совсем рядом...

Всю ночь просидели люди в подвале, в постоянном нервном возбуждении. Теперь дети просили пить, а пить было нечего: вчера утром, в суматохе, никто не захватил с собою воды. Виктория решила сходить за водой. Передав задремавшего мальчика на руки соседке, она вышла из подвала и быстро поднялась к себе на третий этаж.

Квартира оказалась незапертой, и окна не замаскированы. Ведь сюда никто не заходил со вчерашнего утра. Комната была освещена красноватым, дрожащим светом. Виктория догадалась, что это зарево большого пожара. Горели дома соседнего квартала...

Стены комнаты были увешаны картинами в рамках и просто натянутыми на подрамники. Тихие дворики, розовые заводы, обрызганная росой сирень заполняли квартиру. Муж Виктории был художником.

В этой квартире она прожила шесть лет, и все, что тут находилось, было ей бесконечно близким. Вот эту скатерть на круглом маленьком столике она сама вышивала прошлой зимой. Вазу, голубую, с золотыми каемками, ей подарил муж в день рождения... Каждая вещь глядела на нее как страница прожитой жизни. И эта прожитая жизнь казалась ей очень счастливой, хотя, может быть, в ней были и неприятности и обиды.

Виктория прошла в кухню. Там на полу валялись осколки стекла, опрокинутое эмалированное ведро, черепки разбитой посуды. Виктория подняла ведро и подошла к раковине, чтобы набрать воды. Но воды не было. Очевидно во время бомбежки где-то повредили водопроводную магистраль. Виктория спустилась вниз и сказала:

— У нас нет воды...

Но дети не понимали этого и просили пить. Проснулся мальчик Виктории и тоже заплакал:

— Мама, я пить хочу!

Кто-то вспомнил, что вода, наверное, должна быть в колонке, на углу центрального скверика. Ведь это очень близ-

ко, через улицу. И все стали просить Викторию, чтобы она сходила туда. Гул бомбардировки как раз затих. Наступила короткая пауза.

Выйдя из дома, Виктория вдруг почувствовала, что и улицы города бесконечно близки ей, как собственный дом. Она никогда не думала об этом раньше, а вот теперь губы ее почти бессознательно шептали: «Наш город, наш город...» Это был ее город, где она выросла, любила, была счастливой. Но все, к чему она привыкла и что любила, может быть, неосознанной, но нежной любовью, все, чем гордились и что создавали люди для радости и красоты жизни, теперь рушилось, горело, падало. Напротив скверика пылал детский сад, куда она обычно водила сына. Рядом дымилась аптека, и в чудом сохранившихся окнах ее багровым светом поблескивали стеклянные шары, наполненные раствором марганца. Дальше виднелась горящая крыша высокого дома, в котором помещалось то учреждение, где Виктория работала бухгалтером...

Возле самой колонки валялась разбитая, забрызганная кровью пролетка, какие-то узлы, чемоданы и мертвая лошадь с вытекшим глазом.

Виктория набрала воды и, торопясь, побежала обратно, но как раз в это время над площадью снова появились бомбардировщики, раздался свист, от которого тоскливо замерло сердце, и где-то совсем рядом ударила и разлетелась на тысячи грохотов бомба. Воздушной волной Викторию отбросило в сторону и осыпало удушливой пылью. А когда она поднялась, то увидела, как рушится высокая стена ее дома...

Не обращая внимания на грозящую ей опасность, она бросилась к развалинам, которые уже пылали, и по обвалившейся лестнице спустилась в подвал. Навстречу ей из темноты ползли люди, слышался плач детей и стоны раненых. Она зажгла спичку и сразу же увидела сына. Нет, она увидела лишь его ноги, в серых коротких штанишках. Голова и грудь мальчика были раздавлены тяжелым опрокинувшимся ящиком, на котором еще недавно сидела женщина, на руки которой Виктория передала сына. Эта женщина лежала рядом и тоже была мертва. Ее убило осколком бомбы, и кровь тоненькой струйкой ползла у нее по щеке. Виктория с трудом оттолкнула ящик, подняла сына и выбежала на улицу. Она побежала к реке мимо горящих домов, опаленных бульваров, по разбитой, растерзанной улице. Навстречу ей и обгоняя ее бежали люди с узлами, корзинками, чемоданами. Некоторые были одеты в зимние шубы, иные, наоборот, слишком легко. Из разбитого госпиталя ползли раненые в одном белье. За

ними волочились длинные ленты окровавленных бинтов. Виктория и сама не знала, куда бежала она, только бы убежать от этого ужаса разрушения и смерти. А бомбы все рвались, и земля под ногами дрожала. Над городом клубились пепельно-багровые тучи дыма. Сквозь этот дым на землю глядело тусклое солнце.

Виктория споткнулась и упала, не выпуская сына из рук. Она хотела подняться и не могла. Из подъезда ближнего дома выбежал невысокий коренастый моряк в одной полосатой тельняшке и серых рабочих брюках.

Он поднял Викторию и хотел помочь ей пройти в укрытие, но она отказалась:

— Нет, я туда не пойду, — и какими-то двориками опять побежала к реке.

На набережной, возле кафе, похожего на китайскую пагоду, и на площади, против пылающих пристаней, где высоко над рекой стоял памятник известному летчику, собирались красноармейцы с пулеметами, автоматами. Лица у бойцов были серые, хмурые, как дымное небо. Виктория побежала к ним и, не будучи в силах крепиться дальше, громко заплакала. Она вдруг почувствовала себя слишком слабой, обиженной. Неутешное горе через край переполнило ей сердце.

Красноармейцы глядели на нее с сочувствием, и один из них, высокий, худощавый, с русоватой бородкой и, очевидно, близорукими голубыми глазами, мягко сказал ей:

— Успокойтесь, товарищ.

— Да разве можно успокоиться? — удивленно и гневно выкрикнула Виктория и протянула к ним похолодевшее тельце мальчика: — Ведь у меня сына убили!

ЧЕТЫРЕСТА МЕТРОВ

Терновник ронял багряные листья. Медленно падали они на сухую разрытую землю. Здесь, в неглубокой балке, среди редких кустов, бойцы вырыли окопы и щели и обжили это неприютное место.

Лейтенант Терехин, белокурый лобастый молодой человек, лежал под одиноким кустом осыпающегося терновника на самом гребне оврага и злобно глядел в ту сторону, где над бурой равниной подымались два невысоких холма.

По натуре лейтенант Терехин был живым и стремительным. Он любил действовать, двигаться. Но тут вот уже два

дня пришлось торчать в какой-то проклятой балке, где господствовал неистребимый запах солдатского пота и человеческих испражнений...

Четыреста метров бурой выгоревшей степи лежали между нами и немцами. Но пройти, даже проползти эти четыреста метров было труднее, чем проделать четырехсоткилометровый марш. Немцы закрепились на двух холмах. Там они оборудовали двойную линию окопов, построили блиндажи и отсюда обстреливали всю равнину. У подножия холмов прятались немецкие снайперы, а ночью сюда выползали автоматчики, часто стреляли и жгли ракеты.

Наши накапливались в ложине. Днем пройти туда и оттуда было невозможно, и только ночью, и то ползком, пробирались сюда связные из штаба, подносчики боеприпасов и кашевары. В термосах приносили они в окопы горячий борщ. Обедали здесь в необычное время: в 11 ночи и в 4 утра.

Но отсиживаться в ложине было тоже нельзя. И вот гвардейский батальон, в котором служил Терехин, наконец получил приказ наступать...

Утром по туману взводы выползли из ложины и тихо, осторожно стали подвигаться к противнику. Они проползли метров сто, может быть, полтора. Вдруг неожиданно поднявшийся ветер сорвал и унес пелену тумана. Немцы увидели ползущую цепь наших бойцов. Раздалась первые одиночные выстрелы. Тогда командир правофланговой роты решил стремительным броском сломить оборону врага.

— Ура-а! — закричал он, поднимая людей в атаку. Бойцы подхватили «ура» и подымались и бежали навстречу смерти, хрипло выкрикивая соленые слова ненависти и презрения к немцам.

Но в ту же секунду по правому флангу ударили немецкие пулеметы. Под пулями упала первая цепь. Послышались стоны раненых. Следующие цепи не выдержали и, отстреливаясь, стали отползать к ложине. Атака не удалась...

И только одна группа во главе с лейтенантом Терехиным, увлеченная отчаянным порывом, прорвалась на линию немецких окопов, и там завязалась рукопашная схватка.

Получилось так: когда противник обрушил весь огонь на правый фланг наступающих, Терехин ударил слева, и немцы не успели отразить его стремительной атаки.

Работая штыком и прикладом, добывая скорчившихся в окопах германцев, гвардейцы по ходам сообщений проникли в глубину обороны врага, заняли два блиндажа, захватили пулемет, десятка три автоматов, ящики и ленты с патронами. Они даже вырвались на вершину холма.

И только тут, оглянувшись, Терехин увидел, что он, по существу, один с горсткой бойцов. Справа и слева и впереди его — немцы. Только узенькая каемка степи, по которой он со своими красноармейцами только что прошел от ложины к холму, была единственным выходом. Но и эта каемка простреливалась с соседнего бугра.

Ощущение одиночества, оторванности от своих, — самое страшное на войне. Если поддаться этому чувству, — боец пропал. Он уже не боец... Терехин был молод годами, но ему уже не раз доводилось бывать в боях, и он научился владеть собой. И даже в те минуты, когда самому ему было страшно, никто из бойцов не заметил бы этого.

Высунувшись из окопчика и окинув взглядом место сражения, он нарочито громко сказал:

— Отлично. Теперь закурим и примем решение.

Он свернул папиросу, но прежде чем закурить, отдал приказ расставить пулеметы и расположить автоматчиков таким образом, чтобы в случае контратаки немцы наткнулись на стену огня. Потом Терехин распорядился выбросить из окопов трупы немецких солдат.

— И вообще навести порядочек! — сказал он, закуривая папиросу.

Рядом с лейтенантом, в одном окопе, находился красноармеец Сизов, рослый, широкоплечий туляк, добродушный и в то же время очень упрямый человек.

— С немецким пулеметом обращаться умеете? — спросил его командир.

— А что же, могу, — ответил Сизов.

Терехин указал на трофейный пулемет:

— С этой машинкой будете прикрывать выход. Немцы, наверное, попытаются отрезать нас с тыла, а вы их не пустите. Ясно?

— Так точно. Ясно...

Отбив атаку батальона, немцы сосредоточили теперь весь свой огонь и всю свою ярость на группе Терехина. Они рассчитывали быстро покончить с этой небольшой, оторванной от своих главных сил группой советских бойцов. И около полудня предприняли лобовую атаку. Но пулеметы, толково расставленные лейтенантом, и железная выдержка гвардейцев разрушили планы самонадеянного противника. Бойцы отразили атаку фашистов. Немцы откатились, потеряв убитыми с полсотни своих солдат и трех офицеров.

Терехин твердо решил держаться. Ведь было сделано самое главное: пройдены эти непроходимые четыреста мет-

ров. Правда, пройти удалось немногим, но пусть он один с горсткой гвардейцев, — все равно он будет держаться до конца, до последнего.

Так думали и бойцы. Даже, если бы им пришлось здесь умирать, они все равно не ушли бы отсюда.

Так повелевала им гвардейская честь.

В сумерках немцы стали со всех сторон подбираться к окопам, в которых засели гвардейцы. Против обыкновения они не зажигали ракет. Они подбирались в потемках, и время от времени из мрака доносились слова на ломаном русском языке:

— Сдавайтесь, вы окружены, сопротивление бесполезно...

Они, действительно, пытались совсем окружить гвардейцев, зайти с тыла, чтобы отрезать единственный выход в лощину, но Сизов, помня наказ своего командира, ударил из трофейного пулемета, веером рассыпая пули, и замкнуть кольцо немцам не удалось. Тем не менее, они продолжали выкрикивать:

— Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь!

— Сейчас сдадимся, — насмешливо отвечали гвардейцы и подкрепляли ответ огнем автоматов.

Уже совсем стемнело, когда со стороны лощины к окопам подполз человек. Встретивший его Сизов признал в нем сержанта Тишкевича. Сержант тянул за собой катушку провода.

— Послан установить связь, — коротко доложил он младшему лейтенанту.

Через несколько минут в окопчике Терехина был установлен аппарат полевого телефона, а еще через минуту младший лейтенант услышал знакомый голос капитана:

— Терехин, дорогой, — молодец! Держись крепче. Ни шагу назад.

— Есть, ни шагу назад, — ответил младший лейтенант. С телефоном ему стало как-то веселее. Теперь он уже не был один со своими орлами. Тоненькая телефонная проволока, протянутая сержантом, как бы приблизила к нему родной батальон.

Ночью никто из гвардейцев Терехина не сомкнул глаз. Едва заметив тени или услышав подозрительный шорох, они открывали огонь, и немцам так и не удалось даже приблизиться к занятым советскими бойцами окопам.

К утру из штаба батальона сообщили:

— Начинаем. Помогай огнем...

— Батальон снова пошел в атаку. В то же время Те-

рехин открыл огонь, чтобы отвлечь внимание немцев от наступавших.

Но противник, очевидно, тоже готовился к утру. Немцы подтянули свежие силы. Установили на холме минометы и снова встретили наши цепи огнем.

Четыреста метров, отделявшие нас от немцев, были тяжелы. Командование и бойцы, конечно, понимали, что любой ценой они должны быть пройдены. Выход на холмы обеспечивал дальнейшее продвижение вперед уже более легкое. Но каждый метр засохшей, выгоревшей и уже политой кровью степной земли, по которому ползли и бежали гвардейцы, был пристрелян фашистами. Снова упали нервные цепи. Снова разбилась и не вышла атака...

— Все равно держись, — сухим, жестким голосом сказал командир батальона, вызвав Терехина к телефону.

— Держусь, — ответил тот.

Он и его товарищи держались героями. Голодные, усталые, не спавшие полтора суток, за день они отбили одну за другой восемь атак. Они дрались, стиснув зубы, вкладывая в каждый свой выстрел пламенную ненависть к немцам. Двести фашистов легли на подступах к их окопам.

Перед вечером наши снова пошли в наступление, чтобы, наконец, преодолеть эту полосу в четыреста метров. И тогда-то лейтенант Терехин решился на смелый, может быть, даже отчаянный ход. Он тоже поднял своих бойцов, чтобы атаковать немцев с фланга. Это было опасно. Немцы в упор могли расстрелять горсточку гвардейцев. «Все равно, — подумал Терехин, — была не была...»

«Ура», раскатившееся по степи, было подхвачено и на холме. Гвардейцы Терехина и сам он впереди их бросились на фашистов, презирая опасность и самую смерть. Подобно стремительно налетевшему урагану, они смяли и опрокинули засевших на фланге вражеских пулеметчиков.

Немцы не выдержали двойного удара. Они дрогнули и, бросая все, покатались с холма. Батальон ворвался в окопы. Взрывы гранат приканчивали последних немцев, укрывшихся в блиндажах. Уже вслед отступающему противнику учащенно стреляли пулеметы, и «ура», победное, ликующее, снова прокатилось над степью...

Четыреста метров непроходимой степи были пройдены. И отсюда, с холмов, в наступающих сумерках гвардейцам было видно зарево над Сталинградом.

Туда, туда, на помощь товарищам!..

Д. КЛИМОВ

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

В немых камнях ворота Золотые
Хранят молву о временах Батыя,

О мирных снах, растоптанных монголом
В густом дыму и в грохоте тяжелом.

Кляня судьбу и втайне грезя мшеньем,
Бродила скорбь по выжженным селеньям.

И девушки металась на арканах,
Следы теряя в клязьменских туманах.

Мрачил безлюдьем грозный меч батыев
Владимир и Москву, и Киев...

Лежат в камнях, от времени не тлея,
О русской славе помыслы Андрея.

Родной народ горячими руками
Свою хвалу возвысил над веками.

В немых камнях ворота Золотые
Хранят молву о временах Батыя.

Их древний свод внушает и поныне
Любовь к стране, к своей родной святыне.

КОЧЕТОК

Так и умер отец батраком,
Я и сам под соломой жил,
А недавно поставил дом
И железом его покрыл.

У меня на задворках сад,
Под окошком кудрявый клен:
Охрой выкрашенный фасад
Им от знойной жары защищен

Окна белы, карниз голубой,
И ворота в цветной резьбе,
И, на ножке стоит, как живой,
Кочеток на моей избе.

Вишни дремлют, листвою шурша;
Слышен всплеск золотого линия,
Чувством теплым согрета душа —
Целый мир за окном у меня.

Выйду в поле — сплошной стеной
На дорогу склснчилась рожь.
В грудь вливается запах льняной,
И овес у реки хорош.

А кругом ни межи, ни полос...
И о чем ты мечтаешь, земля?
Видно к сердцу тебе пришлось
Слово Сталина из Кремля.

Вот и хлынула благодать
Половодьем большой реки,
Стариков бы теперь поднять,
Что подумали б старики?

Д.М. ПРОКОФЬЕВ

КОГДА ГОВОРЯТ МЕРТВЫЕ

Третий день продолжался бой. Озлобленные предыдущими неудачами, немцы подбрасывали все новые резервы и, едва успев развернуть их, пускали на наши оборонительные позиции. От взрыва снарядов и мин вздрагивала под ногами земля, покрытая высокой, густой травой. Бесконечно трещали пулеметы и автоматы.

Командир части, невысокий, широкоплечий майор Иванов, находился в маленьком блиндаже наблюдательного пункта и внимательно следил за ходом боя. Как всегда, он стоял молчаливым и сосредоточенным, чуть расставив ноги в простых яловочных сапогах. В бинокль хорошо просматривалось чистополье, изрезанное линиями окопов, и опушка березовой рощи, которая изогнутым клином уходила вправо, до глубокой лощины.

В роще немцы накапливали силы и оттуда с дикими криками, ведя беспорядочную стрельбу, шли в очередную атаку, сопровождаемую сильным артиллерийским и минометным огнем. Но всякий раз, натываясь на нашу стойкую оборону, откатывались обратно. Эти неудачные атаки немцы повторяли с какой-то самонадеянной и педантической точностью.

Старший лейтенант Омельченко, командир артдивизиона, веселый и лихой украинец с большим чубом светлых волос, рвущихся из-под пилотки, стоял в углу блиндажа и смотрел полусонными глазами на майора, желая услышать от него хотя бы одно слово. Омельченко не спал уже вторую ночь. Он к этому давно привык. Но лишь одного он не мог переносить — молчания. Лучшее для него лекарство от недосыпания, усталости и чрезмерного напряжения — это веселая шутка.

Вдруг он заметил, что чисто выбритая щека майора передернулась. Омельченко отделился от стены, машинально opravил гимнастерку. Черные глаза его широко раскрылись

и просветлели. В них блеснул огонек задора, который бывает только у очень смелых и решительных людей. Одно многозначительное движение щеки майора заставило Омельченко быть настороженно-серьезным.

— Вот, мерзавцы, — сказал громко Иванов, не отрываясь от бинокля. — Пытаются зайти с фланга. Смотри, — обратился он к старшему лейтенанту, который и без того уже давно держал наготове свой бинокль, словно был уверен, что майор скажет ему именно это слово.

Омельченко вскинул бинокль и, сильно пригибаясь, прыгнул к амбразуре, а майор крикнул телефонисту:

— Вызвать пятую батарею!

Не дожидаясь, пока ответят с батареи, он подошел к Омельченко, спокойно и в то же время торопливо сказал:

— Надо пойти на риск... Необходимо выкатить орудия на открытые позиции и ударить по танкам и пехоте противника в лоб. Другого выхода нет, — подчеркнул майор.

— Разрешите передать ваше приказание? — спросил старший лейтенант, сразу оживившийся от того, что начинается горячее и настоящее дело, которое всегда увлекало его, как человека, не боявшегося опасностей и умевшего выходить из них победителем.

— Передай, — сказал Иванов. — И немедленно действуй... Главное — выиграть время. Понимаешь? Не дать врагу воспользоваться внезапностью. Чтобы по морде его и — до крови.

— Будет выполнено, товарищ майор, — нетерпеливо отозвался Омельченко.

Телефонист, который после каждого слова дул в трубку, стучал по ней обветренными, огрубевшими пальцами, безуспешно стараясь вызвать пятую батарею, сказал с чувством тревоги и досады:

— Товарищ старший лейтенант, пятая батарея не отвечает.

— Что такое? Что ты сказал? — вмешался майор, опять отрываясь от бинокля.

— Батарея не отвечает. Видимо, порвана связь, — ответил Омельченко.

— Чорт возьми! — почти крикнул Иванов, и его левая щека передернулась. — Позвать сюда линейного!

Вошел молодой линейный надсмотрщик Петров с большими красивыми глазами. Верхняя губа у него была чуть приподнята, и это придавало его загорелому лицу такое выражение, словно он чему-то постоянно улыбался.

— Товарищ майор, боец Петров...

— Хорошо, — перебил его Иванов. — С пятой батареей нет связи. Немедленно проверить и восстановить.

— Приказано восстановить связь с пятой батареей, — повторил Петров, еще больше приподымая верхнюю губу, покрытую легким и светлым пушком будущих усов.

— Да, — сказал майор значительно мягче. — Любой ценой... И чтобы немедленно. Выполняйте!

Петров легко повернулся и вышел из блиндажа. Пригибаясь и придерживая сбоку брезентовую сумку, он быстро пошел маленькой лощинкой по направлению провода, чуть заметного в траве. Где-то совсем близко рвались артиллерийские снаряды, тяжело охали мины и со свистом пролетали осколки.

Прежде, когда Петров только что приехал на фронт, он испытывал то сложное чувство, которое испытывает каждый боец, впервые получающий боевое крещение. Сейчас он был спокоен. То, что происходило вокруг него, уже казалось обычным, к чему он успел привыкнуть за многие месяцы пребывания на фронте.

Лощинка вывела на открытую ровную местность, и Петров, держась за провод, искусно пополз, стараясь как можно плотнее прижиматься к земле. Подсыхающая трава хлестала ему по рукам, по лицу, попрежнему невдалеке громы хали разрывы, сотрясая землю. Но все это он воспринимал каким-то вторым сознанием, как человек, весь поглощенный тем делом, которое ему поручено и которое он считает для себя самым важным и неотложным.

Он пополз уже метров двести и вдруг с непередаваемой радостью увидел место обрыва провода. Не поднимаясь, Петров соединил концы, включился, чтобы проверить — работает ли связь, и к своему огорчению нашел, что батарея попрежнему не отвечает.

«Значит, еще где-нибудь порвано», — подумал он и пополз дальше, все также проворно работая локтями и коленями.

В это время недалеко от Петрова разорвалась тяжелая мина. В ушах тихо и раздражающе зазвенело, голова наполнилась тяжестью, а в глазах, вместо яркого света полдневного солнца, несколько минут стояла непроницаемая темнота. Потом он прикоснулся рукой к шее. На пальцах была кровь.

«Ранен», — подумал Петров. Кровь потекла сильнее, падая за расстегнувшийся ворот гимнастерки. Надо было перевязать рану. Но это заняло бы еще несколько дорогих минут. А он сейчас не имел права медлить. Необходимо

как можно скорее восстановить линию. Он понимал, что от этого зависело все.

— Нет, нет... Это после, потом, — сказал себе Петров и продолжал ползти.

Второй обрыв провода оказался более серьезным. Прямым попаданием снаряда вырвало большой кусок, а подпаленные концы раскидало в разные стороны. Он подтянул к себе один конец, достал из сумки запасной провод, присоединил его и стал искать второй конец, ползая вокруг глубокой воронки.

Стараясь быстрее восстановить связь, Петров на минуту забыл о всякой опасности. Он приподнялся, и вместо того, чтобы продолжать поиски второго конца провода, невольно вздохнул полной грудью. Над степью попрежнему светило большое солнце, теплый ветер наносил сладковато-горькой пыльню и ромашкой. И все так же зыбко покачивалось необъятное голубое небо.

Петров снял пилотку, вытер ею с лица пот и еще раз глубоко вздохнул. От горячего солнца, от запаха трав, от голубого простора, который окружал его, он почувствовал легкое головокружение и необычную тяжесть в ногах.

«Что ж это я? — подумал он. — Это все — после, потом. И кровь течет — пустяки... Сейчас другое. Самое важное...»

В это время в нескольких метрах от него разорвался снаряд. Петрова отбросило в сторону, и он потерял сознание.

Придя в себя, он долго смотрел на голубое зыбкое небо, на одинокое маленькое облачко, которое было очень похоже на разрыв зенитного снаряда. Попрежнему вздрагивала земля от грохота боя, но Петров сейчас был сам по себе, один.

«Плохо, кажется, твое дело, Сергей, — подумал он. — Совсем плохо. Конца провода нет, связи нет, ничего нет. Да, как же так? — подумал он более отчетливо и совсем ясно. — Товарищ майор ждет, каждая минута дорога, а я вот лежу здесь...»

Истекая кровью, Петров приподнялся насколько мог и, опираясь на левую руку, пополз, чтобы найти второй конец провода. Ему еще никогда не было так тяжело. Но в нем все еще присутствовала та невыразимая сила, которая всегда спасала его, заставляла делать то, что, казалось, невозможно было сделать.

— «Ты знаешь, что это такое — приказ? — обращался он к себе. — Ну, то-то же...»

Петров отыскал второй конец провода, но сделать он уже ничего не мог. В глазах потемнело — и он вновь поте-

рял сознание. В эти минуты забытья он был далеко отсюда. Он увидел себя на высоком берегу Волги, куда ходил обычно гулять после работы на заводе. Около него сидела Наташа, девушка с белокурыми волосами. Они сидели молча и смотрели на спокойную воду реки. Заходящее солнце длинной золотисто-багряной дорогой лежало перед ними от берега до берега. Такой золотистой дорогой представлялась им жизнь впереди...

Сознание медленно вернулось к нему. Теперь было ясно, что еще одна минута — и все будет потеряно. Напрягая последние силы, Петров свел вместе концы провода и намертво зажал их в зубах. И дальше он уже ничего не знал, не слышал...

Майор Иванов, продолжая внимательно следить за полем боя, часто оглядывался и, опустив бинокль, спрашивал:

— Связь восстановлена?

Омельченко, не отходявший от телефониста, который продолжал кричать и дуть в трубку, для чего-то пощелкивать по ней пальцами, вскидывал голову и неизменно отвечал:

— Батарея молчит, товарищ майор.

Иванов круто поворачивался, так, что каблуки сапог оставляли на земляном полу небольшие вмятины, но через несколько минут вновь спрашивал:

— Не слышно?

— Нет, товарищ майор.

Старший лейтенант испытывал и досаду и неловкость. Досаду от того, что долго нет связи с его пятой батареей, которой поручалось столь ответственное, или, как любил выражаться сам Омельченко, веселое дело, а неловкость потому, что связист Петров был из его взвода управления. Это был один из самых лучших и бесстрашных связистов, аккуратный, исполнительный боец. Он не искал опасности, но и никогда не избегал ее, если этого требовали интересы дела. И вдруг этот Петров, его постоянный любимец, в котором он видел отражение самого себя, своей боевой удали и неутомимости, почему-то замешкался, до сих пор не сумел восстановить линию.

Чувствуя себя виноватым перед майором, Омельченко сказал:

— Это же лучший связист.... И я не понимаю...

— Я тоже ничего не понимаю, — с сердцем отозвался майор. — Но мне нужна связь, а ее нет. Приказываю послать другого линейного.

— Товарищ майор...

— Приказываю послать другого линейного, — повторил Иванов, не оглядываясь.

— Есть, товарищ майор.

Но в это время дежурный телефонист, не загоразживая около рта трубку, как это он делал обычно, обрадованно громко закричал:

— Товарищ майор, связь налажена, слышу батарею!

— Ответила? — обернулся майор, и в его круглых лучистых глазах отразилась сдержанная улыбка. — Товарищ Омельченко, — сказал он мягко и удовлетворенно, — передайте мое приказание. Пусть выкатят орудия на открытые позиции.

Омельченко тряхнул чубом волос, рвущимся из-под пилотки, сказал:

— Будет сделано, товарищ майор.

Когда фланговая атака немцев была отбита, майор вытер платком вспотевшее лицо и попросил:

— Позвать сюда связиста Петрова.

В блиндаж вошел санинструктор и доложил о том, что боец Петров смертельно ранен.

— Жив? — спросил майор.

— Скончался. А концы провода держал в зубах. Так и нашли его...

Левая щека майора чуть передернулась. Он вынул носовой платок и отвернулся. Омельченко заметил, как майор вытирал глаза и громко, для всех, сказал:

— Какие наши люди! А? Герои!

Он снял картуз, Омельченко вслед за ним — пилотку. Они преклонялись перед подвигом бойца Петрова, скромного и доблестного героя.

КУРНОСЫЙ

Это был отчаянный парнишка, сорви-голова. Маленький, вертлявый, с очень веснушчатым и курносым лицом, он казался гораздо моложе своих четырнадцати лет. Он был неистощим на озорные проделки и среди всех деревенских ребят считался первым коноводом. Не проходило и одного дня, чтобы мать его, женщина мягкого и доброго характера, не выслушивала жалоб от соседей на своего сына. И даже о том, что делалось не им, все говорили:

— Это Курносый набедокурил. Кому ж, окромя его?

Мать старалась вразумить сына, несколько раз нещадно порола, но потом отступилась, махнув рукой:

— Пропади ты пропадом, Курносый. Измаялась я с тобой. Оторвут голову, — не заплачу.

Сын привычно подтягивал шаровары, одинаково широкие сверху донизу, и убегал на улицу, весело и пронзительно посвистывая, словно и не слышал только что сказанных слов. Мать стояла у окна, беспомощно покачивая головой. Так всегда: захочет сказать сыну что-нибудь хорошее, научить его уму разуму, а он повернется — и за порог.

Она знала, что немало говорится про ее сына напраслины. Да поди, скажи, что это не он... Никто не поверит ей. Один сосед облыжно сказал, что Курносый оборвал у него в огороде бобы. А она сама видела, как бобы обрывал племянник соседа, приехавший из города на каникулы. Мать не стерпела и хотела вступить за сына. Но на другой же день, когда сосед уехал куда-то, Курносый бросил им в печную трубу молодого грача. Около печки в это время стояла теща соседа, злая и сварливая старуха. Крича и хлопая крыльями, грачонок упал на шесток. Старуха так испугалась, что зажгла перед иконой лампадку, которую не зажигала много лет.

Матери хотелось иметь послушного и смиренного сына, а Курносый был непокорный и своевольный.

Однажды в погожий августовский вечер недалеко от деревни прошли части Красной Армии. Курносый с ватагой шумных ребят бегал провожать их. А когда вернулся домой, сказал, как обронил тяжелый камень:

— Скоро немцы придут.

— Не болтай, чего не след, — строго сказала мать.

— И не болтаю... Командир сам говорил.

Немцы пришли в деревню на следующий день. Они были одеты в узкие мундиры, на ногах кованые, с короткими голенищами, сапоги. Поднимая пыль, они прошли вдоль всей деревни, повернули обратно и расположились около здания, где помещалось правление колхоза. К общему удивлению тех, кто остался в деревне, среди немцев увидели Курносого. Он вертелся между ними, бегал для них на реку за водой, приволок свежей махорки, которая еще пахла зеленью. А спустя некоторое время немцы уже кричали ему:

— Курносый, давай куру. Хлеб давай.

Курносый ловко опрокидывался на голову, поднимал кверху ноги, отчего широкие штаны его опускались до колен, и в таком положении пускал из ноздрей махорочный дым. Немцы гоготали, толкали его сапогами и, когда он

поднимался на ноги, опять с настойчивостью голодных просили:

— Куру давай. Ну!..

А Курносый смеялся над ними, хлопал себя по ляжкам ладонями и тоже кричал:

— Курицу? Ладно!

Немцы переглядывались и недоуменно, с трудом спрашивали:

— Лад-но? Что такое ладно?

— А, не понимаете. Эх, вы!.. По-нашему значит — хорошо.

— О, хорошо. Теперь мы понимай.

Оставшиеся в деревне колхозники, встречая мать Курносого, с упреком говорили ей:

— Вот до чего сын-то дошел. Посмотри-ка, с немцами стаковался. Махорку им таскает, курей!..

Мать опускала глаза, сокрушенно вздыхала и скорее уходила домой.

Днем немцы набивались большими группами в избы; расстегнув тесные мундиры, пили водку, жрали кур, печеные яблоки; оголившись до вертлюгов, искали вшей, а на ночь уходили спать в сильно охраняемые овины. Они боялись располагаться в избах: в окрестных лесах были партизаны. И никогда нельзя было сказать, откуда они могут появиться.

И в один из вечеров, когда опустела изба, мать сказала Курносому:

— Гляди, шельмец, наши мужики ушли в леса, партизанить. Вот как-нито придут они и заодно с немцами прикончат тебя. Поверь моему слову.

Сын улыбнулся:

— Не убьют.

Мать вспыхнула:

— Нечего смеяться! Каково мне тогда будет смотреть людям в глаза? Легче тогда сквозь землю провалиться. Если будешь с этой проклятой немчурой возиться... Да ты слушаешь ли меня?..

— Слушаю, — передернул сын плечами.

— Ты не смей мне так говорить.

Курносый спокойно подошел и посмотрел за окно.

— А ты не кричи.

— Не учи меня. Мал еще для этого.

Однажды Курносый пропал. Мать сильно забеспокоилась. Как ни много он доставлял ей хлопот и душевных обид, но это все же было ее кровное детище. Мать ходила к соседкам, осведомлялась, не видали ли они Курносого.

Но никто из них не знал, где он. А Матвеевна, женщина желчного характера, не уважающая никого, кроме себя, сказала, словно обрадовалась:

— Он, как репей, ко всем липнет. Занесло куда-нито ветром. Может, в канаве валяется твой Курносый.

Это глубоко и нестерпимо обидело мать.

— До канавы я не допущу, — резко сказала она.

— А он тебя и не спросится.

— Злая ты, Матвеевна. Никому ты добра не пожелаешь.

Повернулась — и пошла, едва сдерживая слезы.

И вдруг нашелся Курносый. Многие видели, как в полдень он проехал на машине с группой немецких солдат. А примерно через час он и сам появился в деревне. На нем был старый немецкий мундир с металлическими серыми пуговицами и прожженная пилотка. Ноги босые. Мать встретила его на пороге и от удивления всплеснула руками.

— Что ж это, Курносый, делается? Ты долго еще будешь якшаться с погаными немцами? Они тебе кто, — а? Ты понимаешь, дурень, что они вороги наши, ненавистники. А ты с ними в одной машине едешь. Ты погляди на себя, погляди!.. На кого ты стал похож? Нет, ты — погляди!.. Сюю минуту сбрось это!

Сын к удивлению матери не побежал из дома, не испугался. Он медленно поднял глаза, строго поглядел на нее, так, что мать не выдержала его необычного взгляда, и, отступая, сказала:

— Не гляди так, не отец.

Не опуская глаз, Курносый тихо, но строго спросил:

— И чего ты, мамка, всегда придираешься?

— Надоело все, не могу больше, — отчаянно закричала мать.

— А ты оставь меня. Я теперь уже не маленький. Вот что...

— Ну, терзай меня, терзай, Курносый.

Мать опустилась на лавку, закрыла ладонями лицо и заплакала. Сын подошел и мягко, ласково сказал:

— Чего ты, мамка, плачешь? Слышь, что ли, перестань же. Перестань.

— Да ведь сердце изболелось, на тебя глядячи.

— Поболит и пройдет. Только знай, что я не дурачок. Это я кажусь таким. А на самом деле... В общем и целом, — сказал он, подражая колхозному счетоводу, ушедшему с партизанами, — все обойдется.

Он подтянул штаны и пошел к двери.

— Я скоро, мамка, приду.

зовенькой подушке отчетливо виднелась вмятина от его головы. «Неужели он убежал? — подумала мать. — Неужели с ними?..». И от этой мысли на сердце у нее стало нестерпимо тоскливо и больно. Она опустила на свою кровать и долго смотрела на опустевшее запечье, где обычно спал сын. Ей стало невыносимо жалко его. Она впервые так ясно поняла, что Курносый был для нее самым дорогим в жизни.

Шум на улице усиливался. Десятки моторов неистово гремели, и машины, наталкиваясь одна на другую, стали выезжать из деревни. В боковое окно мать увидела дымное зарево пожара. Немцы подожгли окраинные избы. Ей хотелось выйти на улицу, но страх удерживал ее. За короткое время она так много видела всего, что ей долго хватит вспоминать об этом. На ее глазах немцы застрелили, а затем повесили шестидесятилетнего колхозника Евдокимыча. На фанерной дощечке, прибитой к груди, написали: «Партизан». Она хорошо знала, что шорник Евдокимыч не был партизаном. В другой раз она видела, как немец подошел к Лукерье, живущей напротив, и взял ведро с молоком.

Лукерья хотела отнять у немца молоко. Тогда он остервенело ударил ее прикладом винтовки. Она упала возле коровы не в силах подняться. «Но куда же девался Курносый? — подумала мать. — Когда он мог уйти?..» Она не могла больше усидеть дома и вышла на крыльцо. В густой и розовой пыли неслись последние машины. Вслед за ними бежали не успевшие сесть немцы. Совершенно обезумев от страха, они выкрикивали что-то дикое, непонятное. Куда только девалась их наглость, вчерашняя смелость, то высокомерие, с которым они вели себя в деревне. И так хотелось матери сбежать с крыльца и убить хотя бы одного немца, чтобы они знали, как она ненавидит их. Вначале отдаленный оружейный гул, который шел оттуда, где занималась заря, теперь становился отчетливее и слышнее. Мать прислушивалась к нему, и лицо ее улыбалось. А когда взошло солнце, в деревне показались первые красноармейцы-автоматчики. И еще горели избы, еще где-то совсем рядом продолжалась стрельба, а мать, переполненная счастьем, быстро сбежала с крыльца и кинулась на шею красноармейцу, показавшемуся из-за угла избы.

— Милые вы мои... — Начала было она говорить ласковым, протяжным голосом. Но автоматчик осторожно отвел ее от себя и торопливо сказал:

— Идите в дом. Вас могут... Это все после, после.

И он побежал вдоль улицы, а она стояла и смотрела ему вслед. Легкий ветер шевелил еще нерасчесанные волосы, и

ей казалось, что она тоже бежит за красноармейцем, туда, где скрылись немцы.

— Мамка, — услышала мать позади себя такой знакомый, ласкающий душу сыновний голос. Она оглянулась. Курносый бежал к ней запыленный и мокрый от росы. На лице его была кровь, но глаза задорно и счастливо блестели, и свет в них был такой же, как у отца, когда тот вернулся после двухдневного шумного собрания и радостно сказал: «Ну, Марфа, теперь будем колхозом жить. Довольно, помытарились...»

— Уходи отсюда, — сказал Курносый повелительно, в его голосе тоже было что-то отцовское.

— А куда я уйду? — Вглядевшись в сына, мать испуганно спросила:

— Где же ты был, Курносый?

— Немцев бил, — сказал он гордо, поблескивая синими глазами.

— За курей с ними квитался.

Улица наполнялась людьми. Шум стрельбы все больше удалялся от деревни. Тушили пожары. Из лесу огородами возвращались колхозники-партизаны. Они шли, обвешанные пулеметными лентами, винтовками. Жены, дети встречали их со слезами радости. Вместе с командиром отряда, бородастым и важным председателем колхоза, шел молодой и веселый старший лейтенант.

Подойдя ближе, командир отряда показал на Курносого:

— Вот он...

При этих словах у матери как бы упало сердце. Ей показалось, что сыну ее сейчас будет плохо, что они знают уже о всех его проделках с немцами. А ведь как она предупредила его, уговаривала, ругалась...

Но старший лейтенант крепко обнял Курносого и весело, поощрительно сказал:

— Ишь ты какой... Молодец. Прямо — герой!

— Что застыдился, Курносый? — вмешался председатель колхоза. — Отчаянный парнишка, сорви-голова, а тут вдруг — застыдился.

— А ты где же взял гранаты? — спросил старший лейтенант.

— У немцев.

— Получается: обратно вернул гостинцы.

— Ага, — рассмеялся Курносый.

— Тут вот какое дело-то, — начал громко председатель колхоза, видя, что их густо обступили бойцы и колхозники. — Когда входили немцы, мы сказали ему, чтоб

Он остался в деревне. Он просился в лес, партизанить с нами. А мы так решили: в деревне нужен свой глаз. Вот и говорим: «Оставайся» — «А что мне делать?» — спрашивает. — «Делай все: озоруй, толкайся около немцев и все замечай. Когда нужно будет, мы тебя найдем, — расскажешь, что и как». Он и рассказывал. Оказался добрым разведчиком. Вот тебе и Курносый... — Улыбнувшись, председатель сказал: — Один раз он спросил: «А курицу можно для них зарезать? Они, черти, курей требуют». — «Зарежь, — говорю. — Все равно же они сами всех перебьют. А к тебе доверие будет». Главное, мы хотели выследить штаб...

— Значит, выследил? — спросил старший лейтенант, не переставая улыбаться.

— Все, как есть... В лучшем виде.

— Только напрасно вы поручили ему бросать гранаты, — сказал серьезно старший лейтенант. — Он мог бы и сам погибнуть. Я удивляюсь, что он отделался так легко.

— А ему никто и не поручал, товарищ старший лейтенант. Это он сам уже решил. Никому не сказал.

Старший лейтенант пожал матери руку и сказал:

— Спасибо за такого сына. Можете гордиться им!

Мать крепко обняла Курносого и поцеловала в синие отцовские глаза.

И все, кто стоял вокруг них, протянули руки, чтобы хоть коснуться этого паренька, который вдруг стал для них такой близкий, дорогой, как собственный сын.

ПЯТИДЕСЯТЫЙ

Мы отошли на отдых.

Бойцы сидели после обеда в хорошо натопленных блиндажах и усердно чистили оружие. Старшины хлопотали о бане, а сержант Изюмов, лучший баянист нашей части, ходил вдоль балки и собирал участников художественной самодеятельности.

— Не понимаю, — сказал он мне, театрально разводя руками, — куда это пропал снайпер Климов?

— Да вот он идет.

Невысокого роста, плечистый, Климов приближался к нам ровными, неторопливыми шагами, низко опустив голову.

— Мечтаешь? — остановил его Изюмов. — А я больше часа разыскиваю тебя.

— Зачем?

— Как это — зачем? — удивленно вскрикнул сержант. — Нынче бойцы отдыхают, а завтра, может, опять на передовую. Их культурно обслужить надо или нет?

— Конечно, надо.

— Ну, так через пять минут, — Изюмов вскинул левую руку, подвернул обшлаг рукава шинели и поглядел на часы. — Да, через пять минут ты должен явиться в блиндаж санчасти. Там уже все участники давно собрались. Тебя ждут...

— Я не могу придти, товарищ сержант.

— Это почему же?

Снайпер поглядел на него пристально и с таким выражением, которого никогда раньше не замечал Изюмов.

— Один фриц мешает.

— Ха... Мало, что ли, ты перещелкал их?

— Одним словом: не могу...

— Ну, хорошо: на репетицию можешь не приходиться. А на концерт, — Изюмов опять поглядел на часы, — на концерт обязательно должен явиться! В 20.00...

— Не знаю... Зря обещать не буду.

Климов повернулся и пошел, все так же глядя себе под ноги.

— Испортился человек, загордился, — сказал Изюмов с напускной решительностью. — Ну, что ж... Звезды падают каждую ночь, но их не становится меньше на небе. Обойдемся и без него!

Некоторое время спустя я опять увидел Климова. Он шел в глубокий отрог балки с неразлучной снайперской винтовкой. Это был настоящий мастер своего дела. На расстоянии двухсот метров он сбивал гильзу противотанкового ружья.

— Иду проверить, — сказал Климов, показывая на винтовку и словно в чем-то извиняясь передо мной.

А в сумерки он сам зашел ко мне в блиндаж.

— Увидишь сержанта Изюмова, скажи ему, что я с полным бы удовольствием пришел на концерт, да не могу. Мне надо непременно сегодня убить фрица. Понимаешь? Одного фрица!.. — Он помолчал и добавил: — Эх, только бы увидеть немца! Все пять пуль выпустил бы в него!

Я ничего не понял, о чем он говорил, а спрашивать не стал.

— Желаю тебе удачи.

— Спасибо, друг, — сказал обрадованно Климов, и широкое лицо его осветилось хорошей, полудетской улыбкой.

Программа вечера художественной самодеятельности сверх ожидания вышла очень разнообразной и довольно

интересной. Только не хватало Климова. Бойцы любили слушать его песни. Голос у него был удивительно сильный и красивый.

— Неужели не придет? — несколько раз удивленно спрашивал меня Изюмов.

И потому, как он это говорил, по выражению его лица, я понял, что сержант попрежнему любит Климова и дорожит им.

Концерт уже подходил к концу, Изюмов готовился объявить, что вечер художественной самодеятельности закончен, как по огромному блиндажу, плотно забитому бойцами, оживленно пронеслось:

— Климов, Климов пришел!..

В белом маскировочном халате, с винтовкой снайпер протискивался к сцене.

Бойцы охотно расступались. Он взшел на подмости и, не выпуская из рук винтовку, сказал:

— Вы меня, товарищи, извините. Я только вернулся с передовой, так что не успел еще переодеться.

— Знаем... — раздался чей-то голос.

— А ничего ты не знаешь, — перебил Климов и, отойдя в глубь сцены, бережно приставил винтовку к стене. — Может быть, здесь некоторые подумали, что я загордился, не пришел. Я, товарищи бойцы, всегда готов петь. Моему голосу ничего не сделается. Но тут одна причина имелась. Я никому о ней не рассказывал. Тяжело было на душе... Вы, кажется, все слышали, что мое родное село находится под оккупантами. И вот в конце января я получил письмо. Как оно дошло, через какие руки — и сам не придумаю. Только в нем было написано, что моего отца, Ивана Кириллыча, повесили немцы. Он партизаном был. Славный такой старик, непокорный...

— По яблоку можно узнать яблоню, — опять сказал кто-то.

— Да, — продолжал Климов после короткого молчания. — Сегодня моему отцу исполнилось бы ровно пятьдесят лет. И я дал тогда себе заветное слово — к этому дню истребить пятьдесят фрицев. Я охотился за ними и днем и ночью. Я не чувствовал усталости. Злоба не давала мне покоя. Она обжигала сердце... Ну, а вы сами знаете: руки у меня верные, глаза — острые. И все шло хорошо. Сорок девять поганцев отправил на тот свет. Но вот пятидесятого никак не мог поймать. Как провалились, мерзавцы. Хожу сам не свой. «Неужели, — думаю, — не сдержу слово перед отцом?» Не может этого быть!.. Когда шел сегодня на передовую, так ре-

шил: до окопа доползу, руками задушу немца, а душу свою облеку, — сдержу свое заветное слово!

— И что же: убил? — спросил осторожно Изюмов.

— Убил, товарищ сержант, — сказал Климов, весело блестя глазами и улыбаясь мягкой, полудетской улыбкой. — Хотел пять пуль выпустить в него, да пожалел. Оставил для других. Мой счет пока не закрыт... Ну, а теперь, товарищи бойцы, разрешите мне спеть.

Изюмов давно уже сидел с баяном на коленях и ждал Климова. И вот потекла широкая и могучая песня о Волге. Перед взором сидящих бойцов поднялась во всем своем величии необъятная Советская Родина, которую они все горячо и нежно любили и отстаивали теперь своей грудью. Снайпер Климов пел, и его сильному, удивительно красивому голосу было тесно в огромном блиндаже.

И. ДРУЖИНИН

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД

За древним валом Чингис-Хана
Цветет манчжурская сосна.
Веселым шумным караваном
Проходит по степям весна.

Не умолкает крик гусиный
В озерных рыжих камышах.
Невольно тянет утром синим
Пройтись с двухстволкою в руках.

Ручьи сбегают на дорогу,
Бегут, шурша, едва-едва.
И зеленеет понемногу
Сухая бурая трава.

А ночи бархатные темны,
Лишь изредка пожар степной
Блеснет зарницею огромной
Над неподвижною грядой.

Перевалив узорный гребень
У боевого рубежа,
Луна, как часовой на небе,
Стоит, престоры сторожа.

Обманчив сон весенней дали:
Быть может, завтра, на заре,
Ночь разорвется громом стали
И залпом мощных батарей.

Винтовки наши наготове,
Оседлан конь, клинок остер.

Ты смотришь строже и суровей,
Товарищ мой, идя в дозор.

Тревожна ночь. Луна багряна
На карауле у окна.
За древним валом Чингис-Хана
Лежит чужая сторона.

В СТЕПИ

Недолги воинские сборы:
Шинель, винтовка — и в поход,
И вновь спаленные просторы
И нежно-синий небосвод..

Над степью марево струится,
Плывут и тают облака.
Призывным ржаньем кобылица
Зовет гнедого сосунка.

И по обочине дороги,
Повозку догоняя вскачь,
Ее сынишка тонконогий
Несется боек и горяч.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

За много лет впервые в этот день
Меня никто сердечно не поздравил.
Вставало солнце в облачной оправе,
И между сопками лежала ночи тень.
Свой день рождения я встретил по тревоге,
Она единственным подарком мне была.
Тревожно кони ржали на дороге,
Блестящие кусая удила.
То утихал, то поднимался снова
Холодный ветер, гривы теребя.
Мужчиною и зрелым и суровым
Впервые я почувствовал себя.
Двадцатилетие по-воински отметив,
Я этот день запомню навсегда.
Тревожный горн,
Дорога в горы, ветер,
Над черной сопкой бледная звезда.

НА ВОЛГЕ

По ночам прохладны росы,
Затуманены луга.
Здравствуй, Волга!
Мели, кэсы,
Заливные берега.
Я пришел ночной тропею,
Я пришел издалека,
Чтоб увидеться с тобою,
Наша русская река.
Здесь меня опять встречает
Дружелюбный говор твой.
Шум камней
и крики чаек
Над зеленою волной
Здесь живешь
и дышишь проще,
Каждый день в душе храня.
Снова старый перевозчик
Встретил радостно меня.
Мы сидели долго-долго,
Бились волны о песок,
И выплескивала Волга
Сотни звезд у наших ног.
Хмелем терпким и душистым
Пахли травы над рекой.
Месяц светлорозовый
К нам пришел на водопой,
Блестки мелкие роняя,
Наклонил свои рога.
Здравствуй, Волга!
Ширь родная,
Заливные берега.

ПИСЬМО

...На столе лежит письмо от сына
Ты одна,
Лишь шумит промокшая рябина
У окна.
Вспомню сад и обстановку дома —
В сердце грусть.

Все так близко, мило и знакомо
Наизусть.

Не грусти ночами, дорогая!
Крепко спи.
Я иду, границу охраняя,
По степи.

Сопки, степи да песчаная пустыня —
Нет следа.
Только нежность не остынет
Никогда.

Проплывают стаями пугливо
Облака.
Моя нежность и скромна и молчалива
Но крепка.

Часто снится, лишь глаза прикрою
Светлый взгляд.
Кажется, что где-то за горою
Милый сад.

Зашумит созревшая рябина
На ветру.
Встретишь ты единственного сына
Поутру.

Протяну тебе навстречу руки
И проснусь.
Дом далек, и долги дни разлуки —
В сердце грусть.

Ждет меня начальник караула,
Снова в путь.
В падах между сопками уснула
Ночи муть.

Дни проходят караваном по пустыне
Без следа,
Только нежность не остынет
Никогда.

Верь, родная! Наша встреча скоро
Будет. Спи.
Твой сынок идет ночным дозором
По степи

МАТЕРИ ГЕРОЯ

Вчера он бегал резвым мальчуганом,
В коротеньких штанишках, босиком,
Сегодня — в сером утреннем тумане
Ведет отряд, и тают над штыком
Лесные тени в зареве багряном.

Вчера, уткнувшись в теплые колени,
Он слушал твой медлительный рассказ,
А завтра бросится бесстрашно в наступленье,
Чтобы со славой выполнить приказ

Где он, родной?

Где нуть его пролег?

Уже давно от сына нет ответа,
Всплакнешь не раз над дорогим
портретом,

Не раз с надеждой выйдешь за порог.

Но день придет, он постучится в раму,
И сердцем ты узнаешь этот стук,
Обняв тебя, как прежде, скажет: «мама!»
Как будто бы и не было разлук.

Пусть вырос он,

пусть орден на шинели,

Его к груди, как мальчика, прижмешь,
Напоишь чаем, сядешь у постели
И до утра над сыном не уснешь.

РОДИНА

Здесь другое все. Земля другая,
И другое небо над землей.
Пусть тебе приснится, дорогая,
Пограничный город небольшой.

Пусть тебе приснится, дорогая,
Синих сопок дальняя гряда
И дорога снежная без края,
Что ведет неведомо куда.

Чуткий конь неслышно ставит ногу,
В падах тени черные лежат.

Мы уже привыкли понемногу
Жить суровой жизнью рубежа.

Подниматься ночью, в полусвете,
И, с размаху прыгая в седло,
Проноситься на коне сквозь ветер
По степям, пока не рассвело.

Здесь на сопках, в падах и лощинах,
Обожженный ветром рубежей,
Юноша становится мужчиной
На защите родины своей.

В голубом своем великолепье
Над степями стынют небеса.
И сейчас мы любим эти степи,
Как любили шумные леса.

Пусть дорога здесь всегда опасна
Ночь морозна,
Глубоки снега —
Родина! Повсюду ты прекрасна
И для нас повсюду дорога.

МАМЕ

Сияет солнце с высоты.
Жара... да пыль степная,
Со мной в строю шагаешь ты,
Далекая, родная.

Пусть льют дожди,
пусть ветры жгут,
Но я иду упрямо.
Я твердо в сердце берегу
Твой светлый образ, мама.

НА ГРАНИЦЕ

Куда ни кинешь взоры
Природа здесь скупа,
Безлюдные просторы,
Горячая тропа.

Что ж, надобно признаться,
Печаль не затая,
Мне очень часто снятся
Родимые края.

Приносит ветер вешний
Клубничный аромат,
Закрыв густой орешник
Мой дом родной и сад.

Походная дорога
Далеко увела
От дома, от порога,
От тихого села.

Цепь гор, степные дали
Да пыльные ветра —
Суровым Забайкальем
Зовется этот край.

Куда ни кинешь взоры —
Степь бурая лежит.
Сегодня мы дозором
Обходим рубежи.

Здесь не звенят у пашен
Листою тополя, —
Но это тоже наша,
Советская, земля.

Обветренные лица
Холодный блеск штыка.
**ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА
ЗАКРЫТА ДЛЯ ВРАГА.**

В. ЖУКОВ

В РАЗЛУКЕ

Бывало, день прожив в разлуке,
Как тосковать умели мы.
Как ты протягивала руки
Навстречу мне из полутьмы!..

Октябрь листву срывает с вербы.
Седеют камни под бугром.
А утром заморозок первый
Траву покроет серебром.

Неделям счет давно потеряя,
Вновь, прилетев издалека,
Твой старый дом, как чудный терем,
Украсят белые снега.

Потом за первую порошей
Пройдет метель, в рога трубя.
Ты снишься мне такой хорошей,
Какой я выдумал тебя,

Какой солдатскою судьбою
Ты мне обещана давно.
Там, за последним смертным боем,
Твое мне светится окно.

Стоишь ты, гордая в разлуке,
Меня от смерти заслоня.
И я протягиваю руки
К тебе из пепла и огня.

**

Мне все ясней теперь, когда ты
За сотни верст в краях иных.

А вокруг меня сидят солдаты
На жестких нарах земляных.

Они — вчерашние мальчишки,
Им тяжесть на плечи легла.
Давно ль своим любимым книжки
Они носили до угла?..

Они пройдут сквозь все метели,
Сражая недруга в упор...
Здесь пахнут порохом шинели.
Здесь смех и тихий разговор.

И я, усталый после боя,
Пришел в землянку отдохнуть,
Где пахнет щами, прелой хвоей,
И дыма синенькая муть.

Где, вроде, места больше нету,
Где можно спать лишь на боку.
Я вынул карточку, где лето,
И ты в ромашках на лугу...

И каждый, кто ходил в сраженья,
Кто писем ждал, ночей не спал,
В твоей улыбке и движеньях
Свою любимую узнал.

Казалось, все давно знакомо —
И луг, и лето, и цветы...
И в эту полночь с дальним громом
Нам первый раз спалось, как дома,
И всей землянке снилась ты.

**
*

Как близко все и как далеко!
Не дотянуться ни за что,
Чтоб с глаз твоих откинуть локон,
Взять за плечи, подать пальто.

И до смешного став счастливым
В дождь с непокрытой головой
Пойти в кино... Ты терпеливо
Ждешь писем с почты полевой.

От мук разлуки отреченья
Не просишь ты, и третий год
Моя солдатское кочевье
Твоим присутствием живет.

И на день нас не разлучали —
Свежо дыхание любви.
Я научился в дни печали
Петь песни грустные твои.

И пусть далек мой стан походный,
И нет свечей в моем окне,
Я знаю — ночью новогодней
Ты гостьей явишься ко мне...

Еще ветра не замечали
Следов кровавых на снегу.
И я стихи из дальней дали
Тебе слагаю на бегу.

Я итти на запад не устану
И вернусь, испытанный огнем,
Чтоб увидеть тихий полустанок,
Пруд и две березы под окном.

Выйду в степь, а небо сине, сине,
Поле — желто, глазом не обнять...
Как еще любить тебя, Россия,
В горе не стареющая мать!

Возмужавший с первыми боями,
Слышу я сквозь хриплую картечь
Вольный говор струн твоих баянов,
Русскую волнующую речь.

Замели метели полустанок.
Тишь. Скрипит береза под окном...
Я итти на запад не устану,
Путь далек, но ближе, ближе дом

Только тот получит это право,
Кто, пройдя сквозь смерти черный дым
Не шадил себя в бою кровавом.
Родине был сыном дорогим.

Вл. КУРБАТОВ

ДЕВОЧКА

Дорога желтая струится,
А в небе — жаворонков звон.
На запад на рысях стремится
Кавалерийский эскадрон.

Бежит дорога метр за метром,
Даль широка, но тесен мир.
Несутся кони легче ветра,
На самом быстром — командир.

В нем бранный жар не угасает,
Сверкает боевой клинок...
Вон девочка стоит босая
На перекрестке двух дорог.

В худых ручонках хворостинка,
Убог и неказист наряд,
На бледных щечках ни кровинки,
И губы тонкие дрожат.

Охвачен нежностью отцовской,
Он поднял девочку в седло.
Родную русую головку
Он гладит нежно и тепло.

И девочка уже не плачет...
Навстречу веет ветерок,
А кони боевые скачут
В степной притихший городок.

Сады, дома, как на картинке,
Грачи над вербами кричат.
Выходит женщина в косынке
Из домика, где детский сад.

Тут встал с размаху конь бывалый,
И сходит командир с седла.
— Гражданка, мне бы вас, пожалуй...
Так обернулись дела:

Идут бои, не угасая,
Я потерял свой дом, семью.
Я попрошу вас, дорогая,
Чтоб сберегли вы... дочь мою.

И смотрит женщина с улыбкой
И гостью на руки берет,
Идет, качая станом гибким,
К крыльцу от крашенных ворот.

А командир в седло садится,
К себе сзывая весь отряд.
И снова кони, словно птицы,
За ним безустали летят.

Он грозно жаркой сталью машет,
Внезапной встречей потрясен,
И в бой ведет за счастье наще
Кавалерийский эскадрон.

ПОДСНЕЖНИК

Вдоль зеленеющего ската
Темнеют свечи-тополя.
Здесь область Курская, ребята,
Здесь наша русская земля.

Я говорю соседу справа:
— В девятый бой иду с тобой.
А он нашел себе забаву,
Сорвал подснежник голубой.

Но по условленному знаку,
Винтовку взяв наперевес,
Он, как и все, пойдет в атаку
За этот холм, ручей и лес.

Трепещет враг. Близка расплата.
Он будет бит. Порукой в том
Нам сердце русского солдата,
Где нежность с яростью вдвоем.

МОЛОКО

Боец усталый, запыленный
Проходит медленно селом.
Он ищет взглядом напряженно
По счету двадцать третий дом.

В окно стучится пехотинец.
Старушка смотрит. Кто такой?
— Мамаша, вот тебе гостинец —
Письмо от сына. Друг он мой!

Пока солдат письмо читает,
Слеза туманит ей глаза.
Потом она его сажает
Под дедовские образа.

— Пусть с вида не красна избушка,
Ты будешь сыт, сыночек мой.
Несет из погреба старушка
Кувшин, обрызганный росой.

— О вас, героях, вся забота.
Входи, как в свой, в любой наш дом...
И моего сыночка кто-то
Поит вот так же молоком.

В. КУДРИН

ШАХТИНЦАМ

Эту ночь оборвал рассвет:
В город наши вошли войска
Будто после десятков лет
Разлетелась, как дым, тоска.

В шахты снова вернулась жизнь.
В штрек спустился седой шахтер.
Молодому сказал: «Держись,
У меня молодой задор!».

Уголь лавой идет на-гора,
С каждым взмахом гора растет...
Что годами не взял бы враг, —
В сутки родине дал народ.

Снова городу жить и цвести.
Путь к победе — суров и крут.
Наша ненависть — это месть,
Наша сила — упорный труд.

ХОЛМ СЛАВЫ

Нет преград в степи широкой
Для косматой вьюги.
Ходит ветер одинокий
По степной округе.

Он пройдетя бороздою,
Ковыли наклонит...
Холмик свежий, со звездою,
Ветер тихо тронет.

Не занести снегам-буранам
Этот холмик строгий.
Он стоит на поле бранном,
На краю дороги.
Не прикрыть дорожной пыли
След борьбы кровавой...
Здесь ионовцы почили,
Полегли со славой!

**
*

Пробивались танки к Дону,
Мяли степь шипами.
В балке встретил их Ионов
С храбрыми бойцами.
— Нет назад дороги, братцы!
Быть нам — тверже стали! —
И преградой сталинградцы
В чистом поле стали.
Шесть друзей неудержимо
В бой пошли бурьяном.
Степь покрылась черным дымом
И огнем багряным.
Громыхали вражьи танки,
Налетали скопом...
И пылали их останки
В поле за окопом.

**
*

Лейтенант сказал три слова
В микрофон комбату:
— Ну, прощай... Встречаем новых... —
И занес гранату.
Так он, с поднятой гранатой,
К танкам устремился...
Он упал, железом смятый.
Танк над ним дымился.

**
*

...Нет, не зря комбат однажды
Их прозвал орлами!
Из шести отмечен каждый
Славными делами.
Степь весеннею порою
Приоденут травы.
И бессмертники прикроют
Холм бессмертной славы.

И. ХАНАЕВ

СЛОВО О РОДИНЕ

1

Мчится Днепр полноводен и бурен;
Запах дрома в дыханьи реки;
Вдоль по волоку дым смолокурен
И ночных костров языки.

Здесь певцы на опасном привале,
В час вечерний, под гусельный звон,
Вдохновенную песнь запевали
О деяньях минувших времен:

О мужах, дерзновенных и твердых —
О любимцах крылатой молвы;
Как громил печенежские орды
Внук Олега, «идуший на вы»;

Как, чураясь беспечности детской,
Кипчаку в поученье и страх,
Славу дедов в степи половецкой
На копье пронесил Мономах;

Как, в упор, сквозь днепровские гряды,
В кипень воли зарывая бока,
Святослава челны и насады
Шли грозною на стан Кобяка;

Как, с минутой суровою вровень,
Долг и воля встают у руля;
Как грустит, уходя за шеломень,
Ждет и манит родная земля...

2

Русь! Сынов твоих плавать учила,
Как вино зелена и хмельна,

Понта яростная пучина
И великой Волги волна.

Корабли новгородские смело
В океан окунали борта,
И звездой перед ними горела
О неведомых странах мечта.

Их манили суровые дали
Красным зверем, привольной водой;
Их Рифейские скалы видали
И приветствовал Каспий седой.

От верховья и Тьмутаракани
Дон в ладьях расписных колыхал
Цареградские тонкие ткани,
Золотые мёды и меха.

И росли по дорогам вчерашним
Сел и весей и пристаней тьма,
Городов колокольни и башни,
Златоверхие терема.

Говорили приметы и знаки,
Что хозяин земли домовит:
Тихо зыблются спелые злаки,
Молот падает, торг гомонит...

И в стремленьи свободном и смелом
В голубую бездонную высь
Башен киевских белые стрелы
Над разливами нив поднялись.

3

Рёет Лихо над Русью забытой,
Меж князьями уделы деля.
И усобицы дым ядовитый
Полонит города и поля.

Что для сердца корыстного свято?
Одержимые завистью злой,
Брат отраву готовит для брата,
Сын отца поражает стрелой.

Редко ратаи ходят за плугом,
Псы над трупами споры ведут,

Воют волжи по темным яругам,
Предвещая бои и беду.

Крылья сокола никнут от зноя,
Даль полынного духа полна,
И тоскует лоно земное,
Не приявшее семена.

Вебрь в покинутых селах селится,
Листья ясеня вянут весной,
И, нахохлившись, гриф горболицый
Смотрит вдаль со стены крепостной.

4

Чу! Тревожно колышутся травы.
Туча сумраком дол облегла.
Злобно конь богатырской заставы,
Чуя сечу, грызет удила.

Грянуть грому,
И солнцу затмиться!

Плачьте, жены, о завтрашнем дне!
Мчит татарская кобылица
Плосконосую смерть на спине.

К бою, Русь!

Из-за Волги великой,

Сорок царств на пути истребя,
Сила грозная с воем и гиком
Черным вихрем идет на тебя.
И на голову гостью проклятой,
Как всегда беззаветно-смела,
Ты обрушила меч Коловрата
И ответный удар приняла.

Пятна крови на шлеме разбитом..
Города в багровеющей мгле..
Хряст костей под чугунным копытом,
Стон

и плач,

и туга на земле.

Ты жива,
но страшна твоя рана,

Ты отважна,
но враг сильнее.

Он жестокой петлею аркана
Стиснул горло твоих сыновей.

Дочерей твоих сладкоголосых
Пыткой плена пытать повели,
Русских дев благородные косы
Разметались в дорожной пыли...

Свет померк,
и земля опустела.

Русь разграблена
и сожжена,
Но Батыю истерзанным телом
Путь на запад закрыла она.

Тяжек день наш,
и жизнь нелюбима;

Горек хлеб наш,
и доля горька:

Кровью сердца
и белкою с дыма

Нам вовек не избыть ясака!
О, столетья свирепого мрака,
Неисходной тоски острие!
Русь!

Под злобною плетью баскака
Не забудь униженье свое.

5

Черной немочью черного года,
Псов ордынских коварней и злей,
Крестоносный разбойник у входа
Встал,

Закованный в сталь до бровей.

Рады «рыцари божьего дела»

Сеять смерть,
разрушать и сжигать.

Мертв младенец,
Поругана дева,

Онемела от горести мать...
Снова руки кровавые тянет
Жадный Орден к чужому жилью.
Обнажите мечи, псковитяне,
Станьте грудью за землю свою:

За обиды родимого края
Поднимись, новгородская рать,
Чтоб, за землю отцов умирая,
В славе внуков не умирать.

Дети Суздаля, верные славе,
Пусть вам ненависть целит копьё!

Дай им слово свое, Ярославич,
Как завет и как знамя твое.

Пусть мечи их не знают покоя,
Не слабеет струна тетивы,
Пусть и озеро станет Чудское
Новой славой героев Невы!

Молвит князь:

«Рассуди со мной, боже,
Род надменный веленьем своим!
Что нам, братья, отчизны дороже?
За нее свои головы сложим,
За детей ее постоим.

Искони, спесивый не в меру,
К нам немецкий повадился тать,
Чтоб язык наш,
закон наш
и веру

Беспощадной пятой растоптать.
Чтоб отнять нашу волю и вече,
Чтоб насилья чинить и разбой.
Жен позорить, детей онемечить,
Русь безгласною сделать рабой.

Станем твердой ногой в обороне,
Сохраним достоянье Руси!
Мы ль знамена ее уроним,
Псам позволим их поносить?
Братья!

Воины русские!

Свято

Дело наше.

Дорога — верна.

Пусть же станет грозой супостатам
Русь на вечные времена!»

И ответили воины:

«Княже!

Путь наш вместе,

Судьба — пополам:

Где за Русь голова твоя ляжет,
Там и нашим лежать головам.

Не уступим немчину без торгу
Дедов наших исконную выть:
Надо ворогу душу исторгнуть,
Чтоб свою для себя сохранить.

Князь,

Веди нас к победе
и ведай:

Лучше смерть, чем в неволе житье,
Но пришли мы сюда за победой
И с тобою добудем ее!»

Русь!

Еще не исполнились сроки
Стяг свободы поднять над тобой:
Меч под спудом держи на востоке,
Принимая на западе бой.
Вот уж враг, закованный в латы,
Подступает к последней черте.
Видишь, символом смерти подъятый
Черный крест на тяжелом щите?
Нет!

Сомненье наш взор не погасит.
Нашей силы не сломит в бою.
Осени своей милостью, Спасе,
Час боренья за землю твою!
Выбит щит,

И изрублены латы...
На пристанище ледяном
Крепко спят хвастливые сваты,
Напоенные смертным вином.

МАТЕРИ

Его зовем мы самым дорогим —
Заветное и ласковое слово,
Как с огоньком, идем по жизни с ним
С рождения до часа рокового.

О, мать моя! Ты дожидалась дня,
Когда мы, девять, сядем у огня —

Горластая веселая ватага.

С каким вниманием, с каким сияньем глаз
Ты слушала бы каждого из нас

И большего не требовала блага.

Не дождалась... Теперь уж близок срок,
И скоро мы шагнем через порог,
Овеянные ветром всех дорог,

Твоей любовью созданные снова;
Но нам тебя у входа не найти,
И только восемь, вместо девяти,
Сойдутся у родительского крова.

Любимая! Ты в свой последний час
Не о себе заботилась — о нас,
Далеких, исчезающих в тумане.
О, как тебе хотелось бы продлить
Навстречу счастью нашей жизни нить.
И каждого от смерти заслонить
Из сыновей, идущих полем брани!

Ты верила, что в жизни ни один
Не оскорбит святых твоих седин
Ни в мирный час, ни в пору злого шквала.
Ты верила — и мы клянемся, мать,
И кровь и разум родине отдать,
Как ты свой труд и сердце отдавала

Уже стоит победа у дверей,
Прославим же величье матерей,
Крепивших силу стойкости сыновней!
Прославим жизнь грядущую! Она
Вам, матери, в наследье отдана —
Садовницам прекрасного всего в ней.

И не согнуть, не сдвинуть, не сломать
Нас ни беде, ни злomu ветру бся,
Пока живет великое, святое,
Бессмертное, как подвиг, слово мать.

РОДСТВО

Мне дорого званье донора,
Я думать и чувствовать рад,
Что к кровной семье моей скоро
Тридцатый прибавится брат.

И, верно, не ведают тридцать,
Что служит им сердце одно,
Что каждому в сердце вселиться
Мне кровью своей суждено.

Но в дни, когда бой отбушует,
Отпраздновать гибель врага
Всех кровных своих пригласу я
К огню своего очага.

И все одинаково чтимы,
И дороги мне, и родны,
Сойдутся мои побратимы,
Герои Великой войны.

И каждый сурово отмечен
Иль шрамами, иль сединой;
У каждого грозные встречи
И сорок смертей за спиной.

Нам сказкою быль обернется
И в сердце ударит крылом,
И гордая песня польется
О будущем и о былом.

Споем о своих полководцах,
О мужестве в грозные дни,
О том, как умеют бороться,
Кто сталинской рати сродни.

О чести, о гордых могилах,
Войны обозначивших след,
И о товарищах милых,
Которых на празднике нет...

Пускай нашим детям расскажут
Суровые песни слова
Про дружбу великую нашу,
Которой отчизна жива.

И скажем мы, сдвинувши чаши
Встречая веселый рассвет:
«Да здравствует Родина наша,
Которой прекраснее нет,

Которая в нас воспитала
К народу любовь без конца,
Расчетливый ум генерала
И смелое сердце бойца!».

Лев ОЗЕРОВ

МАТЬ

Одна ты стоишь на пероне внизу.
Я слышу — ты шепчешь, я вижу слезу.
А мы удаляемся.
Стекла двоятся.
Твой горестный образ с собой увезу

Земля уплывает.
А облака клок
Увлек за собою сухой ветерок.
Свисток привокзальный...
И белый до боли
На светлом лугу материнский платок.

А мы удаляемся.
Круча ушла.
И лавры высокой горят купола.
Прощайте, прощайте, пахучие липы
И скрипы уключин, и взмахи весла.

Уже Украина ушла за бугор,
И взгляду открылся приморский простор.
Прощайте, прощайте, поселки рыбацьи
И склоны камнями заваленных гор.

Так вот оно, море!
А ветер игрив,
И Каспий обычен — прилив и отлив.
Дороги расходятся.
Где ты, аукнись!
Я знаю и верю,
Останусь я жив.

Я жив, но от сердца отломлен кусок —
Украинский ветер — родной ветерок.
Прощайте!
О, где же ты — белый до боли —
На светлом лугу материнский платок?!

РАССКАЗ

Посмотрите, друзья!
Тело девушки стынет в сарае.
От ее красоты — что осталось?
Обрубок без рук.
Открывайся, земля,
Открывайся, сырая,
Приюти, приголубь
Еще одну из подруг.

Обожженные печи,
Стоят на снегу догорельцы
А денек — заглядишь.
На пригорке, как в сказке, — лесок,
Деревянная школа.
У порога висящая рельса.
Две косы перевязаны тряпочкой,
Бледный висок.

Это Настенькин день:
На уроке записывай числа,
А в окно не гляди:
На припеке горлают грачи.
Переменка — не стой, не зевай,
А бери коромысло:
Ведра полные неба
Домой принеси, не ворчи.

Ты росла вместе с вишенкой,
Дедом посаженной;
Вместе
С одноклассником бегала
В школьном привольном саду.
Нас дразнили — «жених и невеста».
...На этом же месте
Ты лежишь,
Ты мертва в сорок первом году.

Косы спутаны

Солнце, сквозь щель заглянувшее, светит.

Даже смерть не смогла

Уронить на глаза твои слез.

Мы в сарае стоим.

Уцелевшие сельские дети

Смотрят молча на нас,

Много им пережить довелось.

Полуденного солнца в сарае валялись осколки.

И была тишина убедительнее, чем речь.

И клялась тишина.

И во взглядах огня было столько,

Ровно столько,

Чтоб всю и навеки Германию сжечь.

СЕВЕРНАЯ ГРАВЮРА

Ветвистый лось стоял на косогоре,

Прислушиваясь к шелестам лесным.

Тропа в кусты вилась, как узкий дым,

И тучи шли,

И ветер, с ними споря,

Дерева пригибал к земле.

И лось

Стоял внимательный,

Жевал нагорных лоз

Мясистые листья.

И леса шорох каждый

Дразнил его терпенье.

Лось от жажды

Бежать — стоял.

И спорили с кустом

Его рога.

И в воздухе пустом

Раздался гром,

Пространством повторенный.

Загрохотали листьями кусты,

И на мгновение вековые кроны

Явились, просияв из темноты.

А лось стоял,

Раскинув гордо ноги,

Он видел молний горные дороги;

Он ждал, он видел небо над собой

И всматривался —
Будто он впервые
Глядит на мир,
И забирал губой
На свежих листьях капли дождевые.

**
*

Мне часто вспоминался этот лось,
Внимательно стоящий на дороге.
В нем так могуче и законченно сплелось
Спокойствие с готовностью к тревоге.

Борис ОЗЕРНЫЙ

ПИСЬМА С ФРОНТА

1.

Друзья говорили: она некрасива,
И стоит ли думать так много о ней.
А сердце просило, а сердце просило
Любви и возврата утраченных дней.

В бессонную ночь, изводя папиросы,
Я думал о ней и припомнил не раз
Ее по-монгольски сплетенные косы
И тонкую прорезь задумчивых глаз

Когда засыпали тревожно лиманы
И месяц за лесом подчаском вставал,
Я письма ее, как страницы романа,
При свете коптилки часами читал.

И мир открывался прекрасным на диво,
И жизнь становилась, стремлений полна,
Друзья говорили: она некрасива,
Никто не сказал, что она не умна.

2

Весенние тучи
ушли в перелески.

Дожди пробежали
вприпрыжку, по-детски

По улицам пыльным,
по крашеным крышам,

По розовым маковкам
яблонь и вишен.

И снова сияет
новей и светлей

Лучистое солнце
в безбрежье полей.
А вслед за дождями,
пожалуй, и мне бы
Хотелось пройтись
под безоблачным небом,
Не зная лишений,
минуя ненастья,
Браниться с тобою
и плакать от счастья.
Да... время не то...
И ты далеко...

3

Дорогая моя!
На войне может все приключиться.
В тыл обычные письма
приносят и радость и грусть.
Может завтра сразит меня
пуля проклятого фрица —
Я траву обйму
и к тебе никогда не вернусь.
Мы штыки целовали...
с друзьями на верность клялись мы,
Похоронят друзья,
известят постаревшую мать.
Только ты не узнаешь
и долго сердечные письма
Будешь мне посылать
и ответа с волнением ждать.
Может так и не быть.
Я живу на прекрасной планете,
Я воюю за радость,
за счастье рожденных на ней,
Просто горько мне очень:
в моем обветшалом планшете
Уменьшается список
испытанных в жизни друзей.
И теперь только с фото
смеются их добрые лица,
Их не встретить и с ними
не выпить бутылки вина.
То, что с ними случилось,
со мной может тоже случиться.
Третий год миновал,
как гремит над полями война.

Ты получишь письмо
в самодельном, измятом конверте,
Ты напишешь в ответ:
«Я тебя очень-очень люблю»;
А не знаешь, как часто
Хожу я в обнимку со смертью;
И как часто с ней рядом
под бледными звездами сплю
Не ревнуешь? Ревнуй! И моли
неизвестного бога,
Принеси ему в жертву,
как встарь, восковую свечу.
Плачь, рыдай и терзайся
в тоске обо мне, недотрога,
Я сегодня, безумный,
в слезах тебя видеть хочу!

4

Я тебя позабыть не могу,
Ты всегда, ты повсюду со мной,
Ходишь рядышком в тыл ко врагу
Незаметной тропинкой лесной.

По ночам, в нерушимую тишь,
Не вздувая в коптилке огня,
Ты неслышно в землянке сидишь,
Увлекая мечтами меня.

Я тебя позабыть не могу,
В сердце пламень любви негасим,
Ты меня в ледяную пургу
Согревала дыханьем своим.

Поднимала меня выше звезд,
Ободряла в неравном бою!
Ты далеко... За тридевять верст,
Но я чувствую близость твою.

5

Ты любишь, знаю, любишь, любишь, любишь,
День ото дня тревожишься сильнее,
Пока я жив, мне кажется, ты будешь
Всегда хорошей спутницей моей.

Но быть спокойным все же не могу я,
Я мучаюсь, порой ночей не сплю,

О, если б знала ты, как я тоскую,
Как я тебя ревную и люблю.

6

Не знаю когда, но мы встретимся снова,
Я щеки согрею теплом твоих плеч,
Пусть слово «люблю» — это нежное слово —
Живет в твоём сердце для будущих встреч.

В землянке фигасик коптит, догорая,
А в непогоду выйдешь — не видно ни зги.
Ты все мне прощала, прости, дорогая,
Минутную слабость окопной тоски.

Все песни, что знал, мной сегодня пропеты,
Мне грустно от мысли нагой и прямой:
Не все доживем мы до светлой победы,
Не каждый из нас возвратится домой.

Война нас задела смертельным раскатом,
Мы жизнь свою любим, но что выбирать?
Уж лучше сегодня погибнуть солдатом,
Чем завтра немецким рабом умирать.

Но я не умру! Все пройду и осилю.
В надежде на счастье далекого дня.
На финской войне меня пули щадили,
Немецкие пули не тронут меня.

Не знаю когда, но мы встретимся снова,
Судьба нас однажды не даром свела.
И слово «люблю» — это нежное слово —
Хочу я, чтоб ты для меня сберегла.

7

Когда луна хододный отблеск света
Роняет, набирая высоту,
Тебе опять, наверно, снится лёто,
Мичуринские яблоки в саду.

Небрежно вскинув кроны молодые,
Стоит, в жаре замлев, огромный сад.
И яблоки чудесные, литые
Среди листвы заманчиво висят.

Они горят, как зарево заката,
Богатый дар горячих летних дней,

За все труды. И вот идут девчата,
Снимая нежно яблоки с ветвей.

Под спелым грузом ломаются корзины.
И песенка, запетая тобой,
Летит, звеня, в простор необозримый,
В простор манящий, ясный, голубой.

А вечером, под звездным небосводом,
Сбивая с трав крупинки серебра,
Ты под руку с безусым садоводом
Идешь к крутому берегу Хопра.

Как хорошо погожим теплым летом,
В спокойной, нерушимой тишине,
Плечо к плечу с любимым человеком
Сидеть всю ночь вдвоем, наедине.

Вот это все теперь, наверно, снится
В уютной, теплой комнатке тебе,
А за окном январский ветер злится,
Стучится в ставни и поет в трубе.

Часы двенадцать бьют. И снова тихо.
В узорах окон стынет белый лед.
А может, ты сидишь сейчас над книгой,
Готовясь на «отлично» сдать зачет.

А может быть, в приливе жгучей скуки,
Ты, отложив мудреные тома,
Сидишь сейчас, считая дни разлуки,
И ждешь с военным штемпелем письма.

Любимая!
Хорошая!
Родная!
Прошу, не будь взыскательной ко мне,
Я эти строчки, о тепле мечтая,
Писал морозной ночью на войне.

Вокруг костры дымились едким чадом,
Метель кружилась яростно и зло.
...Как мне хотелось быть с тобою рядом
И чувствовать руки твоей тепло.

Спи, милая!
Пусть счастье чаще снится,
Пусть будет сон желанною судьбой.
За твой покой, за жизнь твоей станицы
Сегодня утром мы выходим в бой!

8

Тот, кто тяжесть сражений пронес,
Носит в памяти горькие были,
У зеленых, кудрявых берез
Офицера бойцы схоронили.

Положили на холмик венки,
На доске написали две даты,
Только плакать никто здесь не мог,
Потому что не плачут солдаты.

Да, мы нынче хороним без слез,
Но в расплате строги и суровы.
Этот холмик у русских берез
Нам оплачут немецкие вдовы.

9

Десятки лет здесь колыхались нивы,
Струилась в травах сонная река,
А у реки, у самого обрыва,
Росла березка в кущах тальника

Она росла совсем неприхотливо,
Был мир ее безоблачен и тих,
По-своему изящна и красива,
Кудрявая, в сережках золотых

Но вот однажды жизнь здесь стала адом,
В тот день был враг особенно жесток,
Березка, перебитая снарядам,
Плашмя упала на сырой песок.

И умерла березка в страшной муке,
В последней судороге дрогнула листвою,
Как человек, раскинув ветви-руки
Над раненой, пылающей землей.

10

Когда колышутся знамена
На перекличке боевой,

Встают герои Краснодона
На правом фланге в общий строй.

Они идут к победе с нами,
И мы, во всех делах своих,
Живыми, чистыми сердцами
Берем равнение на них.

11

Мы с тобою шли безлюдным садом,
Город сладко грезил в мирном сне,
Перед нами ранним листопадом
Осыпались звезды в тишине.

Мы с тобой не думали, не знали,
Что в тот час нарушен был покой,
Что уже в тревоге и печали
Поднималось утро над страной,

Что надежды наши, наше счастье,
Города у западной реки
С сатанинской злобою на части
Рвали кровожадные враги.

Не расстаться б, да пришлось расстаться,
Оборвать хорошие мечты.
За огнями промелькнувших станций
Где-то далеко осталась ты.

Был закат в огне пожарищ розов,
Беженцы бежали на Восток,
Видели мы всюду кровь и слезы
В клубах пыли вздыбленных дорог.

Страшные, тяжелые страдания,
Злая горечь пережитых дней...
Слышали мы женские рыдания,
Плач тетей, терявших матерей.

И клялись мы клятвой сердца людям,
Женщинам безвремени седым:
— Ничего мы немцам не забудем.
— Никогда мы немцам не простим
— Все запомним, все учтем в расплате,
Даром немцам это не пройдет!..

В каждой батарее, в каждой роте
Мы вели свой справедливый счет.

Мы терпели... Ждали дней возмездья,
Новых дней военного пути,
Чтобы огневую жажду мести
На штыках в Германию внести!

М. КОЧНЕВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

А. Н. БЛАГОВА¹

Уже во второй половине XIX века в Иванове и прилежащих промышленных районах создан большой отряд пролетариев-текстильщиков. Первые попытки изобразить жизнь, труд, быт и борьбу текстильщиков делают ивановские писатели (Потехин, Нефедов, Рязанцев, позднее Волков).

Благов, испытав всю тяжесть жизни ткача в условиях дореволюционного провоза и бесправия, делает основным своим лирическим героем рабочего, текстищика. У революционно-демократических поэтов молодой ткач учится поэтической форме, постигает законы поэтического искусства.

Поэт не гонится за изысканностью формы. Но это вовсе не значит, что Благов, следуя твердо установившимся в русской поэзии формам, не достиг поэтического своеобразия. У него есть немало удачных своеобразных стихотворений, являющихся определенным вкладом в нашу советскую поэзию. К таким стихам относятся: «Родина», «У могилы М.», «Думы за станками», «Дума», «Стон ткачихи» и многие другие.

Отличительной чертой поэзии Благова является ее биографичность. Она — образное поэтическое свидетельство о том пути, которым шел русский рабочий от подневольной, бесправной жизни в условиях капиталистического общества к жизни полнокровной, разумной, озаренной светом Великой Сталинской конституции.

Благов имеет свой резко очерченный круг тем, он пишет о среде, которая для него стала родной с детских лет. Текстильная фабрика и самоотверженный труд ткачей — источник вдохновения поэта. Лично самим пережитое, глубоко прочувствованное облекает поэт в поэтические строфы. Правдой жизни проникнуты стихи поэта-текстищика. Ему хорошо знаком круг интересов ткачей, их сокровенные мечты и думы. Поэтому вполне оправданы многие строки в его стихах, когда он, говоря о читателе, видит его в первую очередь в своем друге-рабочем, соседе-текстильнике, который стоит у своего ткацкого станка рядом с ткачом-поэтом.

Поэт стремится к тому, чтобы его простое слово было понятно рабочему, согрело бы его душу.

¹ Из доклада на торжественном вечере в честь шестидесятилетия со дня рождения А. Н. Благова, 15 января 1944 г.

На первых порах своего творчества Благов, очень скромно оценивая свои труды, обращается к своему читателю:

Под голубым покровом ночи
Не собирался я творить,
Хотел я просто как рабочий
С рабочим-другом говорить.

Беседа рабочего со своим другом-рабочим бывает чистосердечна, откровенна и тепла.

Чистосердечностью, откровенностью, поэтической взволнованностью проникнуты лучшие стихи А. Н. Благова.

Поэзия Благова занимает свое определенное место в русской рабочей поэзии. Благов является одним из поэтов-зачинателей рабочей поэзии, он тематически примыкает к тому крылу русской литературы, к которому принадлежали поэты Шкулев и Нечаев. В творчестве их много общего, но в то же время Благов имеет свое поэтическое лицо.

Рабочий, воспеваемый Нечаевым и Шкулевым, менее конкретен и биографичен. Он территориально не связан с определенным промышленным краем.

Благов своим творчеством тесно связан со своей родиной, ивановским текстильным краем. Труд, о котором он пишет, — труд текстильщика, фабрика, о которой говорит Благов, — фабрика ивановская. Законной рабочей гордостью наполнены слова поэта, когда он упоминает об издревле прославленном потомственном труде ивановских текстильщиков, которые из поколения в поколение посвящают свою жизнь ткацкому делу.

На писцовскую фабрику, в обстановку неизбежной рабочей нужды, четырнадцатилетним мальчиком, после окончания сельской школы пришел будущий поэт-ткач (родился Благов в селе Сорохте, Костромской губернии, Нерехтского уезда, в семье пастуха, впоследствии — ткача). Ткацкому делу учился у отца. Как светлый сон, промелькнуло короткое детство, хотя бедное и голодное, но скрашенное привольем родных полей, живописными отчими местами. Началась другая жизнь, полная тревог, забот, нужды и горя, омраченная изнурительным, непосильным для подростка фабричным трудом. Поэт, вспоминая эти годы, не без горечи и сожаления по так рано и бесцветно увядшей юности, пишет в своей биографии:

«Но только что я успел привыкнуть к крестьянской работе, сродниться с полями и лугами, на которых работал, и полюбить их всей душой, как отец взял меня к себе с тем, чтобы обучать ткацкому делу. Трудно и горько было стоять долгие часы за станками, но делать было нечего, мне уже было около четырнадцати лет, и отец сказал, что мне пора зарабатывать деньги, так как в деревне я жил без жалованья, из-за хлеба. И потекли однообразные и скучные дни на фабрике после приволья полей и лугов, с песнями голосистых птиц весной. Заменяли эти песни свист и шум ткацких станков, улетело от души детское веселье и радость».

Поэт вместе с отцом и сестрой работал на фабрике. Отец вскоре умер, оставив сыну долг: 80 рублей в фабричную контору и 60 рублей в лавку. Сын не мог уплатить отцовские долги и за это был уволен с фабрики. Первая попытка юного ткача поступить на ивановскую фабрику кончилась неудачей. Пришлось поступить в чайный балаган колоть дрова, носить воду. С заработанными тремя рублями Благов возвратился обратно в Писцово. Здесь ему удастся устроиться на работу, расплатиться с долгами. Но к молодому ткачу хозяин и фабричное начальство относятся недружелюбно и вскоре заставляют его покинуть Писцово.

Благов навсегда связывает свою рабочую судьбу с прославленным городом ивановских ткачей. В Иванове ему удается устроиться на ткацкую фабрику Бурылина, где поэт и работает до революционных событий весны 1905 года.

В свете скитальческой биографии молодого ткача становятся понятными и волнующими его слова о своей молодости:

Встанут в памяти давние годы —
В песню злая вольется строка:
За густой пеленой непогоды
Не заметишь звезды огонька.
Неприветлива жизнь молодая,
Не зовет на себя посмотреть...
Пожалел бы ее, да не знаю,
За какое добро пожалеть.
Нè забыть, как она блуждала
По бурьяну... Зачем и куда?
За кабацким столом отдыхала,
Чтобы после гореть от стыда.

(«Друзьям», 1927 г.)

Это слова, идущие из глубины сердца поэта, они говорят не только о жизни самого поэта, но также о жизни целого поколения ткачей, придавленных беспросветной нищетой и бесправием. Это художественная иллюстрация к странице прошлой жизни ивановских ткачей, написанная не посторонним наблюдателем, а человеком, проработавшим на фабрике более 30 лет. Труд, ставший в наше время делом чести, доблести и геройства каждого советского гражданина, в старое время был давящим гнетом на плечах рабочего. И вполне понятно: он не возвышал человека. Поэтому мало отрадных картин навевала молодому поэту капиталистическая фабрика. Несметные богатства, созданные потом и кровью ткачей, текли в широкие карманы миллионеров-фабрикантов. Машина, призванная облегчить труд рабочего, становилась в руках хозяина новым средством для выжимания лишней прибыли из труженика. В одном из своих ранних стихотворений, посвященных фабрике, поэт так изображает безотрадную картину фабричной работы:

Гремит станок, свистит привод,
А день так медленно идет,
Как будто нет ему конца.
Ручьями пот бежит с лица.
Куда ни взглянешь, все одно —
Станки, ремни да полотно,
Да лица бледные ткачей,
Мужчин и женщин и детей.

За свою долгую рабочую жизнь на многих ивановских фабриках привелось поработать Благому ткачом, отбельщиком, ситцепечатником. К рабочему, который страстно стремился к знанию, к литературе, был частым посетителем скудной библиотеки для рабочих, думал над вопросами жизни, общался с революционно настроенными рабочими, записывал в свою тетрадь стихи, первые свои поэтические опыты, отношение было настороженное и подозрительное. Со многих фабрик поэта

увольняли за то, что он казался хозяевам неблагонадежным и занимался делами, неподходящими для «порядочного» ткача, проще говоря, не хотел мириться с несправедливостями фабричной жизни. Например, с фабрики ивановского фабриканта Грязнова поэта увольняют за то, что он собирал деньги среди рабочих в помощь подпольной большевистской печати.

Голодному безработному рабочий город с лесом закоптелых фабричных труб кажется неуютным, и в душе зарождается глубокая зависть к тем, кому посчастливилось встать за проклятый хозяйский станок. В такие часы голодающему не жалко последних сил, не жалко горячего пота, лишь войти бы скорей в грохочущий машинами ткацкий цех, но мольба безработного о работе остается тщетной; сытые хозяева не хотят понять голодного ткача.

Но от владельцев их богатых

Один мне слышится ответ,

Один убийственный, проклятый:

Работы нет... работы нет.

С первыми стихами в печати Благов выступает в 1908—1909 гг. Его стихи печатались в журналах «Маяк», «Жизнь для всех», «Объединение». Несколько стихотворений было напечатано в провинциальной печати. Попытка поэта поместить свои стихи в газете, издававшейся в Иванове, редактором которой был тупой чиновник с жандармскими замашками, кончилась неудачей. Благов рассказывает такой случай из своей жизни. Как-то поэт зашел к редактору и предложил свои стихи. Редактор, узнав, что автор их является рабочим, недоброжелательным взглядом окинул поэта с ног до головы, прочитал предложенные стихи и заявил:

— Стихи вашего брата до хорошего не доведут. У тебя рифмы неподходящие:

Свобода — народа,

Доля — воля...

А ты знаешь, за волю такую куда посылают? — И редактор, сложив пальцы, изобразил тюремную решетку. — Ты бы лучше вместо стихов написал имена тех, кто любит говорить о свободе да о народе... И представил бы список, куда следует.

Больше поэт не появлялся со своими стихами у жандарма-редактора.

Многое поэтом писалось не для публикации, а для того, чтобы в словах излить всю боль рабочей души, запечатлеть не дающие покоя мысли и мечты о светлой доле. Многое из написанного за несколько лет до революции впервые вышло в свет только после Октября.

В 1909 году поэт соединил свою судьбу с Матрешей Дмитриевной Чикишевой, крестьянкой Костромской губернии, приехавшей в Иваново на заработки. Матрена Дмитриевна вскоре стала ткачихой и вместе с мужем стойко переносила все невзгоды жизни рабочего. Она стала верной подругой поэта, вместе с ним кочевала с фабрики на фабрику, с квартиры на квартиру. Нелегко было поэту писать стихи в жизненных условиях того времени. Благов, вспоминая те времена, пишет:

«Здесь на квартире свои стихи я писал только по ночам, сидя на печке. Другого места не было, потому что квартира состояла из одной комнаты.

Ночью, когда рабочие все заснут и в избе наступает тишина, осторожными шагами я пробирался на свое место на печку, засвечал маленькую лампу и, тщательно загородив ее свет, падающий в избу, просиживал до утра за любимыми стихами.

Дожив до светлой жизни, поэт нередко вспоминает с горечью те дни и скучные вечера, своей тоскливой однообразностью похожие один на другой, как «две капли влаги дождевой»:

В квартире бедной я один
Сажу до поздней, поздней ночи,
В чаду коптилки чуть видна
Страница.
Стих плетется вяло.
В углу с ребенком спит жена
(К стене примерзло одеяло),
Народ вповалку на полу.
Заботы дня пока заснули,
Но чуть гудок прорежет мглу, —
И зашумел квартирный улей.
День скроет бледный облик свой,
И снова сон.
Сегодня то же,
Что и вчера...
Не так ли схожи
Две капли влаги дождевой?

В конце XIX и начале XX века среди ивановских ткачей было немало революционно настроенных рабочих, стоявших на высокой ступени революционного сознания, готовых идти на схватку с царским самодержавием и капитализмом в защиту своих жизненных прав, своей пролетарской чести.

Передовые ткачи испытывали острую потребность в своем рабочем слове, в своем поэте, который выразил бы их чувства и настроения.

Переносясь в обстановку рабочего города той поры, мы можем представить, как нужно и дорого было ивановским ткачам каждое от души идущее слово их родного поэта. Но не легко было поэту через многие цензурные и полицейские рогатки, стоящие на его пути, донести свое слово до фабрики, до своего желанного читателя. Но все-таки оно доходило, пусть не такое обнаженное и горячее, каким бы желал его подарить поэт, пусть урезанное, пусть с запозданием, но оно находило дорогу до рабочего.

То, что стояло в центре подпольной революционно-демократической печати, а именно: разоблачение несправедливостей капиталистического порядка, защита прав трудящихся, постоянный зов на борьбу с бесправием и насилием, — это же было и основным, ясно звучащим мотивом в поэзии Благова дореволюционных лет. Для примера можно остановиться на вопросе о женском труде на фабриках. Как известно, женский труд на текстильных фабриках особенно жестоко эксплуатировался, так как женщина, зачастую недавно пришедшая из деревни, безропотно сносила все притеснения со стороны хозяина и фабричной администрации.

Революционно-демократическая печать часто со страниц своих нелегальных изданий выступала в защиту прав женщины-ткачихи, будила ее сознание, помогала ей вырасти в сознательного борца.

Эта же тема облечена поэтом Благовым в волнующее стихотворение «Стон ткачихи», написанное в 1910 г. и посвященное сестре поэта ткачихе Марии Николаевне Благовой. Картина женского труда встает перед нами во всей обнаженности, стих подкупает своей искренностью,

жизненной правдивостью, горячим чувством, глубоким знанием описываемой картины, простой и большой любовью поэта к своим братьям и сестрам по труду.

Стихи Благова, не только послереволюционных, но и дореволюционных лет, убедительно говорят о том, что поэт чутко прислушивался к голосу рабочего народа, знал его нужды, стремился в своих стихах поднимать темы близкие и интересные текстильщикам. Настроения передовых рабочих были понятны и близки поэту и разделялись им вполне. Близость к рабочему коллективу, вера в коллективный разум и организованную силу рабочих определяли бодрый жизнеутверждающий мотив поэзии Благова, отчетливо звучащий на протяжении всего творческого пути. Рабочий коллектив, обстановка трудовой фабричной жизни, близость к революционному авангарду ивановских текстильщиков — оказали, самое плодотворное влияние на поэта, помогли быстро найти свою поэтическую тему, своего героя, правильно понять явления жизни, увидеть за черными тучами бесправной жизни лучи зари освобождения. А текстильное Иваново, как известно, было своего рода революционным университетом, подготовлявшим кадры революционеров, деятелей большевистской партии для многих городов России.

Свет революционной мысли озарил сознание рабочего-поэта. Вера в победу, уверенность в своей силе, готовность постоять за себя навевала такие строчки:

В заводе, среди грома и шума
Железных машин и ремней,
Нередко отрадная дума
В душе возникает моей
И греет, и ласково светит
Надеждой, что время придет
И жизнью счастливой на свете
Рабочий народ заживет.
Поймет он, откинув тревоги
Покорной, позорной судьбы,
Что нет ему больше дороги,
Как только дорога борьбы.
И встанет он дружной семьею,
За брата униженный брат, —
И солнце тогда над страной
Заблещет яснее в сто краг.

(«Дума»)

На глазах поэта прошли все знаменитые революционные события в Иваново. Он был очевидцем многих забываемых картин: то таких величественных, как собрания и митинги на Талке, то таких страшных, как кровавое утро 1905 г., разгул черной сотни или зверская расправа над безоружными ткачами на Приказном мосту. На все события, происходящие в родном рабочем городе, поэт откликался правдивым словом, то восторженно-призывным, то полным скорби и гнева.

Перечитывая стихи Благова, читатель воскрешает перед собой страницы прошлого, записанного с верностью очевидца — рабочего.

Кровавое побоище, устроенное над рабочими полицией совместно с ивановскими фабрикантами, было заклеено большевистской прессой как самое гнуснейшее событие.

В поэме «Вера Мялова» Благоев дает скупую, но убедительную картину дикой волны погрома.

Осенний город орет, гремит
(Тесна городская тюрьма).
Несет мостовая толпу громил,
В испуге дрожат дома.
Над словом «товарищ»
Повис запрет,
Криво качается
Царский портрет.

Выступление ивановских текстильщиков 10 августа 1915 г., требовавших хлеба и свободы, было подавлено пулями.

Поэт пишет: «После ужасной картины расстрела, свидетелем которой мне пришлось быть, я уехал из Иванова в г. Юрьев-Польский».

Работая машинистом на Юрьев-Польской красильной фабрике, Благоев не переставал в свободное от работы время заниматься любимым трудом — писанием стихов. В Юрьев-Польском были написаны «Десять писем» в стихах. Поэту представилась возможность опубликовать эти письма только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Письма были адресованы товарищу поэта — А. Д. Вицину, рабочему Старо-Писцовской фабрики. Письма представляют несомненный интерес не только в плане историческом, но и художественном. Они написаны, как и некоторые другие стихи, под влиянием Гейне, о чем говорится в одном из писем.

Письма представляют собой сатиру на убогую, полудремотную жизнь захолустных уездных городков, на жадных и тупых мешавобывателей, на уездных держиморд, казнокрадов и хозяев города.

Описания метки и выразительны.

Вот картина захолустного городка.

Наш город скуп водопроводом
И освещением не богат, —
В свое жилище тихим ходом
Шагаешь ночью наугад.
Его речушка мелководна,
Для земноводных — чистый рай.
Здесь даже винного завода
Не мог построить Николай.

Лаконично, но исчерпывающе показаны быт, нравы и характер жителей захолустья. Поэт пытался найти ответ на мятежный зов сердца в книгах местной библиотеки, но, увы! напрасная мечта! Приходится покинуть читальный зал. В ветхом каталоге не значатся ни Гомер, ни Данте.

А вот рисунок фабрики:

Шумливый корпус фабрички
В стекло извилистой речонки
Глядит, любуясь сам собой;
Высокой каменной трубой
Коптит небесные просторы.
Кругом колючие заборы

И полицейских целый взвод
И во дворе и у ворот...
Хозяин жив одной наживой,
Все остальное — чепуха:
В грязи купаются цеха,
Машины наши — сброд паршивый,
Решетки в окнах... Смрад и тьма.
Гуди, рабочая тюрьма!

Долгожданный Октябрьский день освобождения поэт встречает восторженно. Вскоре он возвращается в свободный красный Манчестер и впервые получает возможность заговорить полным голосом о том, что волновало его душу. Больше поэт не чувствовал на себе сковывающих его пут бесправия. Воспрянули многострадальные ивановские ткачи, вместе с ними воспрянул и поэт. Он, как и его друзья по труду, почувствовал себя полноправным хозяином жизни, слился воедино с великой семьей трудящихся.

Быстро изменялся в годы мирного строительства облик советской земли, советских городов и сел. Вместе с ними изменились и люди. Труд из подневольной и позорной необходимости превратился в дело общественной и личной чести каждого гражданина. У фабричных станков послышался радостный смех рабочего-хозяина. Жизнь подсказала поэту вместо старой песни уныния, тоски и гнева новую песню — песню текстильщика-победителя, текстильщика-хозяина своей судьбы и своего счастья.

И как же мне беспечным быть,
Свою работу не любить,
Когда к труду меня зовет
Один хозяин — мой народ.

(«Песня ткача», 1925 г.)

Послереволюционное творчество Благова — это поэтическая летопись славных побед и достижений ивановских ткачей на всех фронтах хозяйственного, культурного строительства; живое свидетельство того, как неблагоустроенный, грязный старый город, богатый кабаками и не имевший ни одного высшего учебного заведения, превратился волей и усилием ткачей в прекрасный советский город, областной и промышленный центр. Грохот и шум бурного строительства не помешали поэту слагать новые песни. Текстильщик, ивановский ткач — попрежнему остался основным, любимым лирическим героем поэта, а фабрика, ткацкий цех — тем фоном, на котором пишется поэтическая картина. Поэту была близка и понятна душа ткача, но она стала еще более близкой и понятной в годы сталинских пятилеток.

Радость созидания нового общества наполняла сердца людей, вдохновляла и двигала их на героические подвиги в труде.

Изменились порядки на фабриках, изменилось и отношение ткача к труду.

Подобные изменения произошли и в психологии лирического героя в стихах Благова.

Ткачу, случайно один раз во всю жизнь опоздавшему к станку, становится стыдно глядеть в лица своим товарищам; не окрик надсмотрщика, как было в старое время, заставляет работать его с удвоенной энергией, а рабочая совесть, новый сознательный взгляд на труд как на почетный долг каждого человека и перед самим собой и перед народом.

Ткачи-соседи веселы, но не весел опоздавший.

В душе обида, точно лед,

А стыд лицо пожаром жжет.

Друзьям в глаза я не взглянул,

Я весь ушел в железный гул:

Хотелось вдвое быть ловчей,

Чтобы догнать других ткачей.

Радостно было рабочему человеку пройти по мирным, обновленным улицам города, видеть новые дома, сознавать полезность и нужность своего труда.

Много блеска у майских высот,

Но у города больше красот...

Снова золото дня надо мной,

Захватил меня город родной.

Я плыву в говорливой волне,

Сотни лиц улыбаются мне:

Пусть на плечи ложатся года,

Жизнь прекрасна, душа молода!

Дыханием молодости, возвращенной поэту-ткачу советской властью, овеяно творчество советского периода. Вполне понятно, почему поэт часто обращается к жанру песен, желая излить наполняющие его сердце чувства радости и восхищения окружающим миром и новыми людьми.

Благову по праву принадлежит место одного из первых зачинателей жанра песен на производственную тему, песен о ткачестве как в дореволюционный период, так и после. Тема о борьбе, труде и достижениях текстильщиков разрабатывалась и разрабатывается в нашей поэзии преимущественно Благовым. Тема — почетная и благодарная.

Поэтическое дарование Благова полностью проявилось во всех присущих ему поэтических особенностях в послереволюционный период.

Круг тем его значительно расширился: поэт нередко выступает со стихами на разные темы, уделяет много внимания трудной теме строительства нового быта, воспитания нового характера, новой морали, новых семейных отношений, не сдает он в архив сатирическое перо — и порой метко бичует пережитки, оставшиеся нам в наследство от старого мира, теневые стороны — лентяев, разгильдяев, рвачей, лодырей, замыкающихся в скорлупу личных интересов, людей старого мещанского покроя.

Для Благова очень характерно обращение в современных стихах к мрачному прошлому, для того, чтобы был более разительным контраст, для того, чтобы более ярко подчеркнуть светлые картины нашей жизни. Немало стихов Благова посвятил борьбе ивановских большевиков — соратников знаменитого Фрунзе и Фурманова.

Поэту дорога, как своя собственная честь, честь родного текстильного края, доблесть ивановских текстильщиков. Каждое новое достижение ивановских текстильщиков, каждую их победу поэт воспринимает, как победу свою.

Благов печатается не только в областной прессе, но и в столичных журналах и газетах. Песни Благова о текстильщиках на всесоюзном конкурсе 1938 г. удостоены двух премий и переложены на музыку лучшими советскими композиторами С. Прокофьевым, братьями Покрысом. Книжки Благова много раз издавались как областным, так и московскими издательствами.

Литературная критика неоднократно отмечала достоинства поэзии Благова и приветственно встречала выход в свет каждой новой книжки поэта из края текстильщиков.

Известный советский поэт, требовательный и взыскательный, весьма воздержанный в оценках, в предисловии к сборнику «Ступени» писал о поэзии поэта-текстильщика.

«Сборник «Ступени», показывающий ступени роста одного из лучших наших рабочих-поэтов, несомненно, может быть рекомендован для изучения всем начинающим пролетарским поэтам». Эти слова поэта Багрицкого надо помнить нашей талантливой рабочей молодежи текстильных фабрик, идущей в литературу.

Весь творческий путь Благова знаменует собой не только его личный рост, но и рост всех текстильщиков, приобщенных советской властью к культурной жизни.

В годы войны поэт все свои силы, несмотря на возраст, отдает общему народному делу борьбы с заклятыми врагами — немецкими фашистами. Поэт выпустил книгу «Ненависть», в которую вошли стихи первых полутора лет Великой Отечественной войны. Книга пропитана яркой ненавистью к немецким разбойникам. Стихи горячие и страстные, рожденные военной обстановкой, нужные и своевременные.

В памяти поэта опять воскресает героическое прошлое ивановцев времен гражданской войны, прославленные походы ткачей под водительством Фрунзе и Чапаева, и поэт вместе со всем народом верит, что и в настоящей жестокой битве ивановцы под водительством великого вождя тов. Сталина не посрамят своих славных революционных традиций:

Их в походы водил сам Чапаев-герой.

С ними Фрунзе громил Колчака,

И сейчас перед черной фашистской ордой

Не изменит винтовке рука.

Поэт знает, что героизм ивановцев на фронте будет поддержан самоотверженной работой текстильщиков в тылу:

Буду служить тебе, родина-мать.

Лучшая в мире страна:

Добрые ткани умею я ткать —

Я за станками сильна.

Вместе со мною подруга швея

Дело торопит свое.

Красная Армия — наша семья,

Все отдадим для нее...

Одним из признаков высокого поэтического достоинства всякого стихотворения, написанного ранее, является его созвучность разным историческим событиям. И в этом поэзии Благова нельзя отказать. Его стихотворение «Родина», написанное в 1937 г., звучит в наши дни торжественно, как клятва, как присяга честного советского человека перед своей матерью-родиной:

За все, за все враги заплатят кровью.

Под их пятой нам никогда не быть...

О, родина! Тебя другой любовью

Я не умею, не могу любить!

Общественно-агитационная направленность стихов Благова делает его поэзию весомой, острой. Ивановский писатель-фронтовик Полторац-

кий рассказывает случай из своей фронтовой жизни, когда бойцы перед атакой, прослушав стихи Благова, после в наступлении дрались особенно яростно.

Следовательно, поэзия Благова присуща, кроме силы разрушительной, которая была направлена против старого общества, еще большая сила созидания, сила борьбы.

Поэзия Благова давно вышла за пределы «областного» значения, она занимает определенное место в советской поэзии. Свое шестидесятилетие поэт-ткач встретил полный боевого задора, творческих замыслов на будущее. Он исполнен желания шагать вместе с молодежью нашей страны:

Вдали отратно и светло —
Не быть былому бездорожью.
И я, годам моим на зло,
Шагаю вместе с молодежью.

Недалек день, когда будут разгромлены немецкие полчища, черный немецкий ворон стерт с лица земли, когда вернутся в свой родной город герои фронтовики-текстильщики. Будем надеяться, что новой ответственной песней встретит их поэт-земляк.

Так пожелаем же поэту новых успехов, новых песен!

Д. МАКСИМОВ

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА Ал. БЛОКА

В ряду великих имен гениальных русских поэтов, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, которыми по праву гордится русский народ, стоит имя Александра Блока. Творчество Блока глубочайшими корнями связано с национальной культурой России. Судьба родины переживалась Блоком как его собственная судьба. Образ России являлся фоном блоковской лирики, просвечивая даже в тех ее темах, которые, казалось бы, не выходили за пределы чисто личных переживаний автора. Стихи Блока для нас в эти суровые дни не «музейная, академическая» ценность. Блок нужнее и дороже нам теперь, чем в другое более «благополучное» время. Разве не звучат его чистые и горячие «Стихи о России» так, как будто они были написаны сегодня? Разве не волнует нас мужественный вызов, брошенный Блоком в «Скифах» врагам родины? Несомненно и «Стихи о России» и «Скифы» и поэма «Двенадцать» с ее торжественным утверждением Октябрьской революции и все прекрасное творчество Блока продолжает жить во всей своей непосредственности и ясности, и только углубляется и свежеет от времени.

Все это заставляет нас с особенной любовью и заботливостью относиться к литературному наследию Блока.

Каждая строчка, вышедшая из-под его пера, имеет для нас значение и подлежит тщательному изучению. Каждый документ, который может помочь нам восстановить живой и неповторимый образ Блока, должен быть сохранен и раскрыт.

Именно к таким документам относятся публикуемые ниже письма Блока¹. Хронологическая и тематическая разрозненность этих писем не снижает их значения как достоверного свидетельства о Блоке. Даже, наоборот, она дает возможность увидеть Блока на протяжении большего промежутка времени, в его внутреннем движении и росте.

Два самые ранние (1902 г.) из публикуемых здесь писем Блока адресованы товарищу его по петербургскому университету — композитору, а впоследствии известному дирижеру, Николаю Андреевичу Малько. Ярко и живо вырисовывается в этих письмах образ юного Блока — автора «Стихов о Прекрасной Даме». Оба письма посланы из Шахматова — небольшого красивого и тихого имения, в котором Блок, студент Петербургского университета, проводит в кругу родных летние каникулярные месяцы. Его внешняя жизнь проходит в спокойных и уютных занятиях (см. письмо № 1). Его внутренняя жизнь замыкается в мире одиноких и отвлеченных созерцаний. Социальная действительность, бушующие вокруг него политические бури кажутся ему тогда непонятными — вызывают в нем лишь недоумение и беспокойство (см. письмо № 2).

Адресат третьего из публикуемых ниже писем Блока — художни-

ца Татьяна Николаевна Гиппиус. Д. Гиппиус довольно часто навещала Блока, и весной 1906 г. нарисовала его карандашный портрет. Блок ценил ее рисунки (об этом в «Воспоминаниях» А. Белого, «Эпопея» № 3, стр. 214) и даже реагировал на них одним из своих стихотворений («Твари весенние»).

Блок 1907 г., — а именно к этому году относится публикуемое письмо, — уже не юный и никому неведомый автор уединенных и «бесплотных» «Стихов о Прекрасной Даме». Блок 1907 г. — это поэт, написавший «Незнакомку», вполне созревший, прошедший сквозь «соблазы» декадентства, окунувшийся в бурную жизнь большого города, впитавший в себя опыт первой русской революции, впервые отчетливо почувствовавший свою связь с жизнью народа и свою ответственность перед ним. Одна из основных душевных тем Блока того времени — борьба с декадентством, с духовным разложением, с тем «кризисом сознания», который переживала связанная с буржуазным миром интеллигенция. «Ненавижу свое декадентство и бичую его в окружающих... — писал Блок своему другу Е. П. Иванову в июне 1906 г. — Настал декадентству конец... и нечего думать о литературных утешениях, пока кто-нибудь не напишет большой и действительно нужной вещи...»

Публикуемое письмо Блока к Т. Гиппиус представляет собой прямое выражение этой антидекадентской тенденции. Содержащаяся в письме критика литературных опытов Дмитриева, человека явно декадентской культуры, в достаточной степени резка и определена. Однако при чтении этого письма нужно иметь в виду и его внутреннюю психологическую подоснову. Осуждая Дмитриева, Блок знает («сам знаю, сам знаю!» — см. письмо), что осуждает отчасти и свое собственное «прошрое».

Письмо Блока Михаилу Алексеевичу Кузмину, известному поэту, прозаику и музыкальному импровизатору, интересно, прежде всего, заключающейся в нем высокой оценкой этого автора. Однако отношение Блока к творчеству и к литературным позициям Кузмина оставалось на уровне, определенном в этом письме, — 1908 г. — далеко не всегда. Блок не мог считать Кузмина человеком действительно близким себе в идейном и «лирическом» смысле. С течением времени эта внутренняя рознь обоих поэтов еще более определилась и стала уже вполне ощутимой в период близости Кузмина к акмеизму — литературному течению, которое Блок считал несерьезным и бесплодным².

Под номером пятым печатается здесь письмо к Владимиру Васильевичу Гиппиусу (литературный псевдоним: Вл. Бестужев). Вл. Гиппиус вошел в историю литературы как один из самых ранних представителей русского декадентства. Но, сыграв свою роль в период первоначального оформления «новых поэтических течений», он не удержался в центре движения, отклонился в область педагогической работы и лишь время от времени напоминал о себе в литературе, выпуская сборники своих стихов.

Основным содержанием публикуемого письма Блока является высказывание по поводу брошюры Вл. Гиппиуса «Пушкин и христианство» (П. 1915). В этой работе Вл. Гиппиус пытался доказать, что пушкинская поэзия базируется на интуитивно-сознаваемом христианском начале. «Пушкин, — пишет он, — наша органическая христианская жизнь, в ее томлениях греха и святости, в ее колебании всех роковых антиномий... Это — наша томящаяся плоть, преодолеваемая, преобразуемая».

Блок в продолжение всей своей сознательной жизни, особенно второй ее половины, сторонился христианства, смотрел на него осторожно и недоверчиво. Поэтому неудивительно, что и попытка Вл. Гиппиуса осмыслить Пушкина с позиций подновленного христианства встретила

его решительное осуждение. Блок не мог допустить, чтобы «веселое имя Пушкина», которым он клялся в своей трехмертной речи «О назначении поэта», было связано с отрицающим материальную, земную жизнь принципом христианства. Текст приведенного письма не оставляет в этом никаких сомнений.

Наконец последний публикуемый документ — письмо Блока к Анне Яковлевне Гуревич — ныне выдающемуся ленинградскому педагогу и методисту. Личное знакомство А. Я. Гуревич с Блоком имело беглый характер, ограничивалось телефонными разговорами, но она была, отчасти, посвящена в его планы и в его литературную жизнь своей сестрой Любовью Яковлевной Гуревич (1866—1940), известной писательницей и журналисткой, хорошо знавшей Блока.

Публикуемое письмо является ответом на письменное обращение А. Я. Гуревич к Блоку, датированное 21 февраля 1916 г. (на нем пометка Блока: «отв. 23/II»). А. Я. Гуревич благодарила Блока за присылку поэмы «Соловьиный сад» и выражала свою любовь к его поэзии. Кроме того, явно имея в виду подготовку Блоком 3-го, «мусагетовского» издания его стихотворений, она писала ему: «Не могу не сказать, что мне все-таки очень жаль «Весны над замком»³, которую Вы хотите изъять из нового издания. Там есть прекрасные строфы и строки, а вся первая строфа⁴ сливается для меня с Григом и звучит как эпиграф, как провозвестие «Розы и Креста». Лаконизм и простота художественных средств, — которые достигаются обычно художником и поэтом лишь путем долгой созидательной работы и большого внутреннего самообладания, — этот художественный лаконизм более зрелых годов, думается, не убывает аромата и свежести первых еще несовершенных по выполнению эскизов, когда — «Над зелеными рвами текла розовая весна...»⁵. Так нужно ли заглушать голос этой весны? Так мне думается». (Архив Блока. Государственный литературный музей. Москва).

Из ответного письма Блока к А. Я. Гуревич можно видеть, с какой предельной серьезностью, строгостью и требовательностью относился Блок к своей литературной работе и к себе самому. Свои стихи он рассматривал как отражение своей внутренней жизни, а она была для него не только стихийным процессом, но и моральной проблемой и тем трудным путем, идя по которому, как он писал А. Я. Гуревич, не всегда приходилось «достигать», но иногда лишь «удерживаться», а иногда и «падать». Не случайно в статье «Душа писателя» Блок утверждал, что «первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, — является чувство пути». И в той же статье он формулировал тот критерий, которым руководствуется настоящий писатель в своей ответственной и подвижной работе. «Последнее и единственное верное оправдание для писателя, — писал Блок, — это голос публики... Это даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной».

Именно эти мысли о неразрывной связи поэзии с родным народом и живое ощущение этой связи в отношении своего собственного творчества и составляли одну из самых важных внутренних предпосылок, определивших дальнейший путь Блока к принятию и утверждению Великой Октябрьской социалистической революции.

№ 1

18 июля 1902 года. Им. Шахматово Моск. губ.

Милый Николай Андреевич.

Простите, что не сразу ответил Вам на Ваше письмо от 17 июня. Сначала не собрался просто, а потом были хлопоты и неурядицы. Здесь в Шахматово 1 июля скончался мой дед⁶. Теперь моя жизнь

потекла обычным порядком. Здесь я провожу почти каждое лето довольно мирно (особенно с внешней стороны). Довольно много читаю, также и ученые книги (Канта). Очень занимает меня 2-й курс, между прочим — классическая филология⁷. Насколько я мог заметить, Соколов⁸ поставил Вам пять (равно и мне), впрочем, к Вам почему-то придирался (ко мне же наоборот). Экзамены от меня теперь уже очень далеки (в смысле их неприятной и изнервляющей стороны, потому что польза их все еще, кажется мне, ощутительна).

Надеюсь, что Ваши обстоятельства и дурное настроение теперь уже переменялись к лучшему, тем более, что Вы, мне кажется, обладаете большой жизненной энергией и отсутствием желания «тосковать», что весьма обычно в настоящее время. Кажется, Вы миновали и так называемую «декадентскую» жизненную школу. Благополучно ли кончились Ваши дела в Консерватории? Посылаю Вам одно из моих стихотворений, хотя за выбор не ручаюсь. Выбрать особенно трудно, потому что я пишу очень отвлеченно в современном (уже последекадентском) роде.

Любящий Вас Ал. Блок.

Не призывай и не сули
Душе былого вдохновенья.
Я — одинокий сын земли,
Ты — лучезарное виденье.

Земля пустынна, ночь бледна.
Недвижно лунное сиянье.
В звездах немая тишина —
Обитель страха и молчанья.

Я знаю твой победный лик,
Призывный голос слышу ясно,
Душе понятен твой язык,
Но ты зовешь меня напрасно.

Земля пустынна, ночь бледна,
Недвижно лунное сиянье.
В моей душе отражена
Обитель страха и молчанья.

1900⁹.

№ 2

Шахматово¹⁰, Моск. губ., 5 августа 1902,

Милый Николай Андреевич.

Ваше письмо было ужасно грустное и печальное. Такого я даже не ожидал. Хорошо, по крайней мере (если что-нибудь есть хорошее), что Вы надеетесь на исход тяжелого времени, хоть для себя лично. Без этого, я думаю, и жить было бы трудно. Каковы Ваши нынешние обстоятельства, улучшилось ли положение. Помогает ли Вам музыка? Наши времена и в политическом отношении остры. Особенно это заметно на нашем юге. Слышали ли Вы еще про ужасные бунты в Пензе и Саратове? Я имею достоверные сведения об этом, потому что пострадали и мои родственники и знакомые. Крестьяне жгут усадьбы, призваны войска. Повторяется то же, что в Полтаве и Харькове¹¹.

Причины — какой-то революционный кружок. Что же касается рабочих, то они бунтуют, кажется, во многих местах. Вообще, опасаться можно очень многого. Мы с Вами будем сравнительно обеспечены зимой в Петербурге от этих «жакерий»¹². Что касается факультетских интересов, то они отделились от меня. Атмосфера уж очень не зимняя. Впрочем, я учусь и читаю сравнительно много, поездок еще не предпринимал. Может быть съезжу скоро в Москву, посмотрю святых¹³. Живу, вообще, довольно тихо и не развлекаюсь. В доме есть больные. В Петербург я вернусь, думаю, в начале сентября. Лето плохо по погоде, ясных дней было мало, все дожди. Желая Вам лучших впечатлений, чем были.

Будьте здоровы.

Любящий Вас Ал. Блок.

№ 3

16 марта 1907.

Милая Татьяна Николаевна.

Прочитал я некоторые «обрывки кошмара» и верно составил себе полное понятие о них. Читал и Любе¹⁴ вслух. По-моему, не надо печатать, хотя есть и талантливое. Душа новая, но как большинство новых душ, невоплощенная, а потому страдания большей частью бесплодны и ненужны. Конечно, Дмитриев очень хорошо знал для себя свойство индийских тканей и краткие воздушные полеты и молодую змею, окруженную семью звездами. Но все-таки он даже не лирик, и наполовину только от некультурности и от неимения «слога». Он очень любит слова «чудный» и «дивный» и употребляет массу эпитетов.

Говорить о записках, как о дневнике, по-моему, невозможно, потому что автор, по-моему, сам от себя старательно скрывает свою душу: как только захочет признаться сам себе, так неуловимо неискренен, мертвит себя словами и образами, иногда получужими (например, «таруха, влекома на лодке по озеру или целование лампады»).

Если б я писал рецензию о записках, я бы поставил их немного выше провинциальных декадентов (выше только потому, что письмо писано не для печати). Очень знакома эта чистота души, преломленная двойственным ко всему отношением, но неправая, потому что безжертвенная (незнающая долга и холода) и беспринципная (ненужно скрытная). Сам знаю, сам знаю!

Приходите к нам, пожалуйста.

Преданный Вам Ал. Блок.

Приходите к нам, Тата. Целую Вас.

Любящая Вас Л. Блок¹⁵.

13 мая¹⁶.

№ 4

Милый Михаил Алексеевич.

Вчера я всю ночь не спал, а днем бродил в полях и смотрел на одуванчики, почти засыпая, почти засыпая. Потому Вы и не застали меня. А сейчас проспал 13 часов без снов и встал бодрый, ясный воздух, читаю Вашу книгу вслух и про себя, в одной комнате и в другой. Господи, какой Вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строчку и каждую букву понимаю и долго жму Ваши руки и крепко, милый, милый. Спасибо.

Любящий Вас Александр Блок.

№ 5

30 сентября 1915 г.

Дорогой Владимир Васильевич

Спасибо Вам за книгу, я ее прочел, вспомнил Ваш голос, когда Вы читали в р.-ф. обществе¹⁷. С замыслом я не согласен, с терминологией

не согласен, т. е. просто мне она кажется ненужной, отвлеченной, зато многие конкретные наблюдения над Пушкиным очень меня тронули и показали, как я и ждал, нужными и близкими.

Недавно читал статью о Добролюбова в Венгеровской истории. Могу сказать, что благодаря Вашей статье в первый раз почувствовал Добролюбова по-настоящему¹⁸.

Ваш Ал. Блок.

№ 6

23/II 1916.

Глубокоуважаемая Анна Яковлевна.

Благодарю Вас за сочувствие. В таких письмах, как Ваше, есть некое «слышу, сынку» из «Тараса Бульбы».

Переиздание моих книг побуждает меня всегда проверять весь путь, потому я семь раз отмериваю, чтобы раз отрезать. Может быть, ошибаюсь, все-таки, но, относительно «весны над замком», пока еще не могу согласиться с Вами. Да ведь все это не имеет ничего общего с «полным собранием сочинений». Выбираю и распределяю все так, чтобы как можно яснее (насколько в данное время жизни понимаю) было, чего хотел, чего не достиг, как падал, где удалось удержаться.

Спасибо Вам еще раз. Передайте, пожалуйста, Любове Яковлевне, если будет случай, мое сердечное пожелание поправиться.

Искренно Вас уважающий

Ал. Блок¹⁹

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Все напечатанные здесь письма Блока публикуются впервые. Оригиналы писем, помещенных под №№ 1—3 и 5, хранятся в Институте литературы Академии Наук СССР, оригинал письма № 4 — в Рукописном отделении Гос. ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, оригинал письма № 6 принадлежит его адресату.

2

Справедливость требует отметить, что, осуждая акмеизм, как поэтическую школу, Блок к некоторым поэтам-акмеистам относился с несомненным сочувствием. Известны, например, его положительные отзывы об А. Ахматовой. Даже Гумилева, своего прямого литературного и политического противника, оценивал, имея в виду его зрелые стихи, очень высоко. По крайней мере, на титульном листе 3-го тома лирики Блока (М. Изд. «Мусагет», 1916) сохранилась следующая дарственная запись Блока: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору «Костра», читаемого не только «днем», когда я «не понимаю» стихов, но и ночью, когда понимаю. «А Блок. III. 1919» (Центр. Гос. Лит. Архив).

3

А. Я. Гуревич имеет в виду стихотворение 1905 г. «Влюбленность» («Королева жила на высокой горе»). Впервые оно было напечатано в «Золотом Руне», 1906, № 1.

4

Вот строфа, о которой пишет А. Я. Гуревич:

Королева жила на высокой горе,

И над башней дымилась прозрачные сны облаков.

Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал о любви на заре,

В те часы, когда Рейн выступал из своих берегов.

⁵ Строка из того же стихотворения.

⁶ Дед Блока — известный ботаник, ректор Петербургского университета Андрей Николаевич Бекетов.

⁷ Осенью 1901 г. Блок перешел с юридического факультета Петербургского университета на 1-й курс историко-филологического факультета. «Здесь Александр Александрович, — пишет биограф поэта, — сразу попал в свою сферу, увлекся лекциями профессора Ф. Ф. Зелинского и некоторых других профессоров, но под конец все-таки сильно устал от университета. Его удручали главным образом экзамены, к которым он готовился с тоской и напряжением». (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Л. 1930, стр. 7).

⁸ Ф. Ф. Соколов — и. д. заслуж. орд. профессора Петербургского университета. Блок слушал у него в 1902 г. курс древней истории Греции и Рима. (Некролог о нем написан С. А. Жебелевым, «Ж. М. Н. Пр.» 1909, сент., стр. 17—64).

⁹ Стихотворение это вошло без изменений в текст первой книги Блока, цикл «Ante lucem» с датой: 1 июня 1900.

¹⁰ Часть этого письма цитирована на стр. 294 моей книги «Поэзия Валерия Брюсова», Л., 1940.

¹¹ В марте 1902 г. в Полтавской и Харьковской губ. вспыхнуло массовое крестьянское движение. Было «разобрано» свыше 80 усадеб помещиков и крупных арендаторов.

¹² Такое отчужденное и недоуменное отношение Блока к революционному движению вскоре коренным образом изменилось. Об этом можно судить, хотя бы, по его стихотворениям «Фабрика» и, особенно, «Сытые», — стихотворению, в котором Блок, как известно, самым горячим и энергичным образом приветствует забастовку, ударившую по буржуазии:

Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев:

¹³ Поездка Блока в Москву состоялась значительно позже, чем он предполагал: в январе 1904 г.

¹⁴ Любовь Дмитриевна Блок — жена поэта.

¹⁵ Приписка рукою Л. Д. Блок.

¹⁶ Письмо это следует отнести к 1903 г. Книга, о которой упоминает в нем Блок, — первый сборник стихов Кузмина «Сети», изд. «Скорпион», М., 1908 г. То и другое устанавливается путем сопоставления точных дат (по месяцам) выхода в свет лирических сборников Кузмина с проставленной в письме датой («13 мая»), при вполне обоснованном допущении, что упомянутая Блоком книга Кузмина попала к Блоку более или менее сразу по ее выходе. Подтверждением правильности обеих расшифровок служит также общее совпадение оценки «Сетей» в статье Блока «Письма о поэзии» («Золотое Руно», № 7—8) и в комментируемом письме.

Повидимому, Блок имеет в виду состоявшуюся 21 ноября 1911 г. в Петербургском религиозно-философском обществе лекцию В. Гиппиуса о Пушкине из цикла «Пессимизм и религиозное сознание в русской литературе». В т. II «Писем А. Блока к родным» (стр. 18) опубликована краткая, недатированная записка Блока к матери, относящаяся, как полагает составитель комментариев, именно к этой лекции: «Лекция В. Гиппиуса превосходна». В «Дневнике» за 1911 г. Блок отзываясь об этой лекции также весьма положительно. Очевидно, новая, в основном отменяющая прежнюю, блоковская оценка мыслей В. Гиппиуса о Пушкине была вызвана значительным сдвигом в мировоззрении Блока. Иное объяснение, вытекающее из предположения, о полном пересмотре Вл. Гиппиусом своих взглядов на Пушкина менее вероятно. Впрочем разницу в блоковской оценке лекции В. Гиппиуса и его брошюры можно отнести за счет преимущества в воздействии живого слова над печатным.

Александр Добролюбов — поэт, один из первых русских декадентов, друг Вл. Гиппиуса. Недолгий период поэтической работы А. Добролюбова закончился разрывом его с культурной средой. Он «ушел в народ», «опростился» и занялся религиозной проповедью. Блока интересовала судьба Добролюбова. Неслучайно образ его очерчен в одном из стихотворений первой книги лирики Блока. Статья Вл. Гиппиуса о Добролюбове была напечатана в «Русской литературе XX века», вышедшей под редакцией С. А. Венгерова, вып. III.

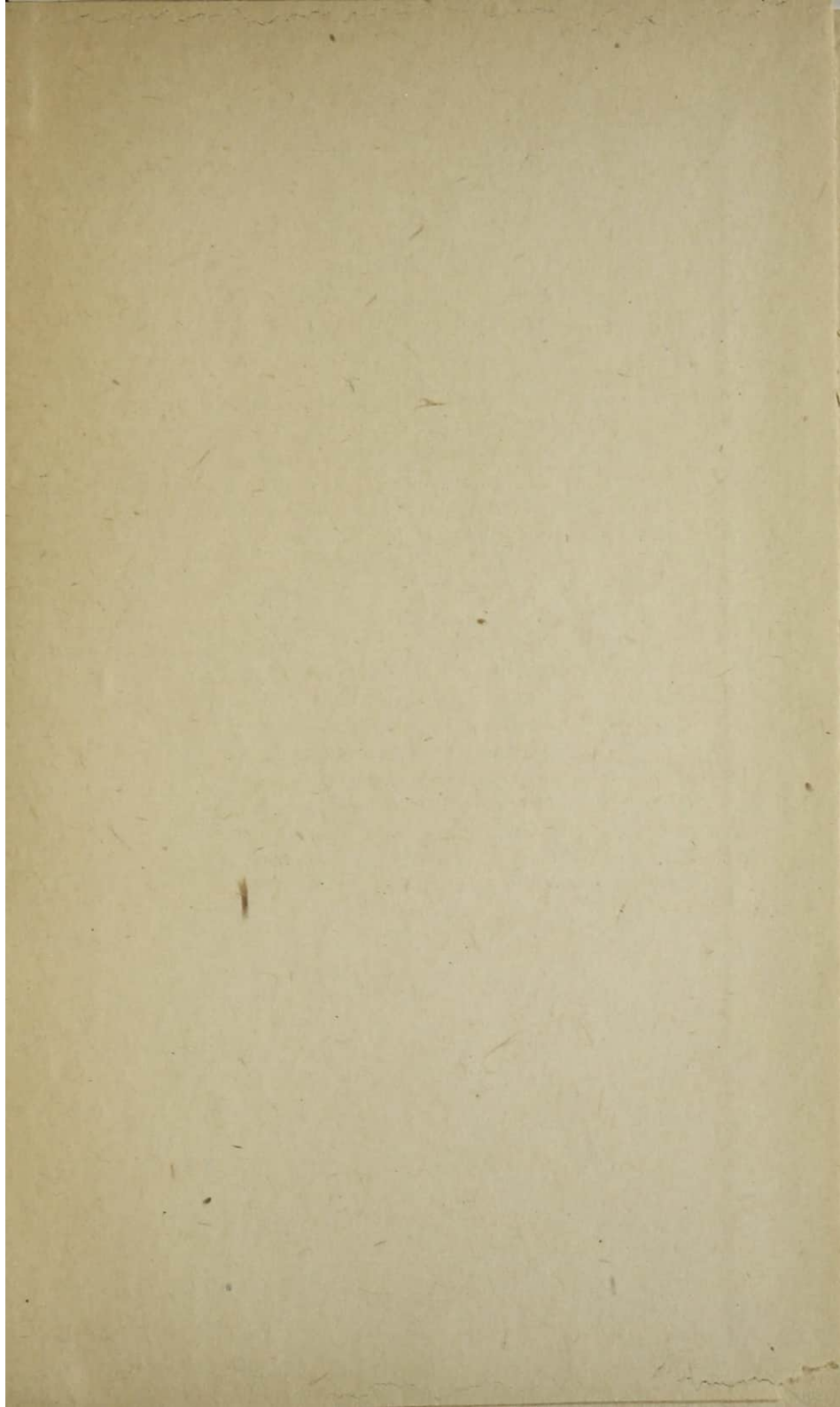
Хотя Блок, как можно видеть из комментируемого письма, не хотел включать стихотворение «Влюбленность» («Весна над замком») в подготовляемое им 3-е, «мусагетовское» издание своей лирики, — оно тем не менее вошло в это издание. Иными словами, Блок в конечном счете поступил все же так, как советовала ему А. Я. Гуревич.

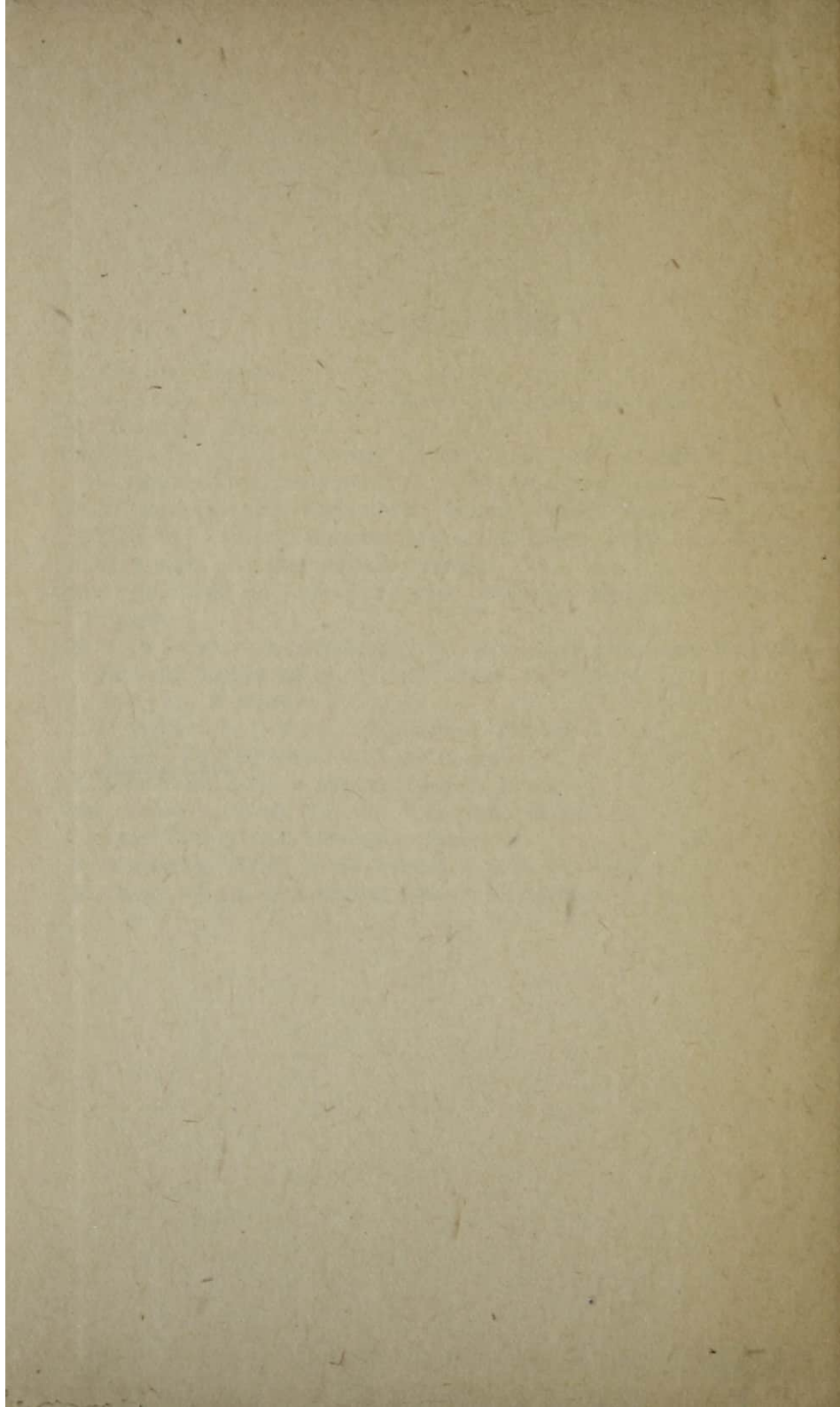
Редактор: Редакционная коллегия.

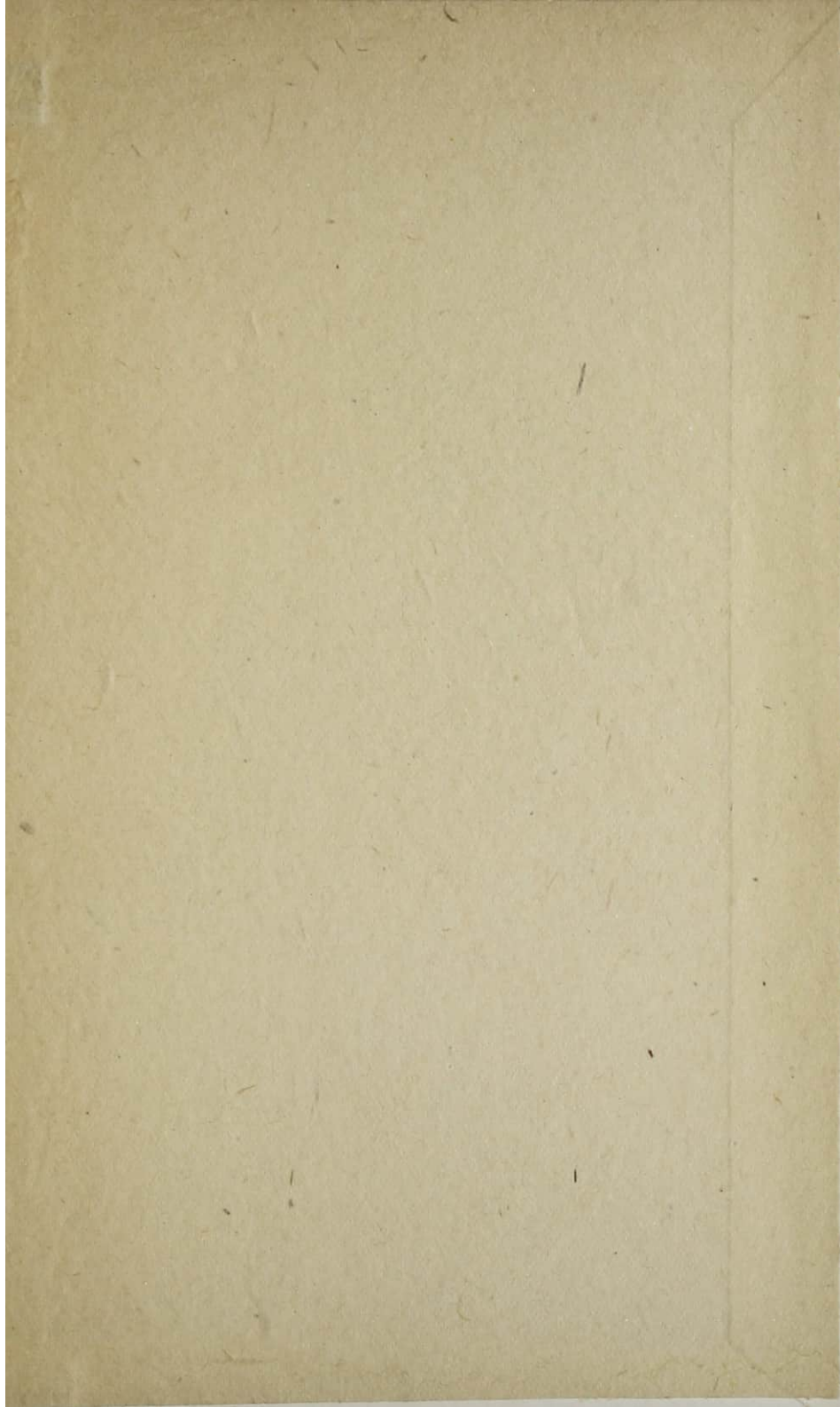
СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Л. Галич. Будущее	3
А. Благов. Пряжа. Победа. Наказ. Стихи о друге-поэте	55
М. Шошин. Палешанин	59
Мих. Кочнев. Моя борозда. Суздаль. Ночь под Измаилом. Гость У Ленина. Подарок. Почему ты тоскуешь о юге. Ночью. В дороге	108
М. Белоберезов. Караги. Под старой яблоней. Аксиныя Громова	123
В. Полторацкий. Восьмая атака. Виктория. Четы еста метров	146
Д. Климов. Золотые ворота. Кочеток	159
Дм. Прэкофьев. Когда говорят мертвые. Курносый. Пятиде- сятьй	161
И. Дружинин. Весенний этюд. В степи. День рождения. На Волге. Письмо. Матери героя. Родина. Маме. На границе	178
В. Жуков. В разлуке	185
В. Курбатов. Девочка. Подснежник. Молоко	188
В. Кудрин. Шахтинцам. Холм славы	191
И. Ханаев. Слово о родине. Матери. Родство	193
Лев Озеров. Мать. Рассказ. Северная гравюра	201
Борис Озерный. Письма с фронта	205
М. Кочнев. Жизнь и творческий путь А. Н. Благова	213
Д. Максимов. Неизданные письма Ал. Блока	224

ЭБД







9 PYE, 50 ROLL.

